

МОЙ СТАРЫЙ ТОМСК

1. БЛУДНЫЙ СЫН

Мученье на поездных полках. И вот - вместо зацветающих южных садов - томская стужа, вьюги по ночам и первые капли с крыш - днем.

Теперь я проснулся в маленькой комнатухе, где проживал Витька Кротенко матерью.

В войну мы в этой самой комнатухе играли с Витькой в самодельные карты и кости, устраивали бои мушкетеров, учились курить. Витька старше меня на два месяца, может, поэтому он раньше меня замечал на земле потерянный кем-то перочинник, монеты, "жирный» окурок.

Он знал, что лучшие окурки можно найти возле подъезда театра туда не ходят жлобы, докуривающие сигарку до тла. Знал, что монеты чаще могут встретиться под турником или в пересохшем русле канавы.

Мы рано пошли работать. Его мучили в ремеслухе, я с тринадцати лет томился в мастерской. Если человек работает, то он считает себя взрослым, и другие к нему, как к взрослому относятся.

Мы рано начали выпивать. Когда возобновил работу ресторан "Север", мы с Витькой стали осваивать и эту торговую точку. Приходили важно закуривали, подзывали официантку. Пока ели, Витька незаметно прятал в плавки фирменный ресторанный ножик. (В плавки - не полезут!). Он обращался к пробегавшей официантке:

- Девушка! Вы позабыли подать ножик, не могу справиться с бифштексом!

Официантка приносила другой нож. Витька называл это налогом на глупость.

По ночам в темных переулках нам случалось вступать в потасовки парнями, пытавшимися облегчить наши карманы, либо уменьшить на какую-то деталь нашу одежонку. Витька в таких побоищах бывал удачливее меня. Он как-то сказал, мол, каждый может стать сильным.

Он притащил домой украденную им в базарном сарае гирю-двухпудовку. Интересуешься? И знакомые подарили ему эспандеры, гантели. Возле крыльца он вкопал два столба, пришил к ним перекладину-трубу. Вскоре труба стала блестять, как никелированная.

И нырять он здорово. У деревянного моста торчали сваи, остатки ледореза. Витька долго там плавал, замерял дно, изучал. Потом вылез на мост и предложил прохожему:

- Хочешь, за сотню с перил моста между сваями нырну?

Выбрал он дядьку по виду богатенького и не ошибся. Но прежде, чем нырять, он позвал свидетелей, которым богатый дядька и передал сотню, Если Витька не врет, в самом деле нырнет, то они и отдадут сотнягу храбрецу. Витьку отговаривали:

- Стоит за сотню жизнью рисковать?

Он встал на перилах столбиком, поднял руки вверх, постоял, гляди вниз на сваи, и красиво, легко спружинил, описал дугу и вонзился в вол как раз между двух свай. Вынырнул он, отфыркиваясь, взбежал наверх.

Дядька неожиданно предложил:

- Пройдешь нагишом по мосту, тогда не сто, а сразу все – двести рублей заплачу.

Витька скинул плавки и пошел. Он картинно простер руки в стороны. И был уже у другого конца моста, когда засвистел в свисток милиционер. Витька припустил от него в кусты

Когда я принес ему плавки, и мы вернулись на мост, ни свидетелей с деньгами, ни дядьки-заказчика на мосту уже не было. Получилось, что Витька и нырнул, и прогулялся голышом по самому большому томскому мосту совершенно бесплатно.

Ну, а вообще-то все это было не зря. От купания и ныряния у Витьки Постепенно увеличился объем груди. В армию он уходил атлетом. Не зря там, на своих Курилах, он за год дослужился до старшины. Выше подняться ему образование не позволяло.

И вот я проснулся на полу Витькиной комнатухи. Кольцо крышки подполья всю ночь мне давило в ребро, из щели дуло, у меня стучали зубы. |Витькина мать дала мне в качестве подстилки вязаный половичок, а укрыться было нечем, я укрылся плащом, в котором приехал из Ашхабада, и в котором в Сибири, в марте, не то чтобы не жарко, а даже очень холодно.

Все в этой комнатухе было как и тогда, в годы войны. По бокам ее стояли две кровати: на одной спал Витька, на другой - мать. Между койками у стены помещался комод, стоял впритык к нему обеденный стол. У входа в комнату была печь. Я спал головой к комоду, ногами к печи. Над Витькиной койкой тикали знакомые с войны ходики.

О, я за эти годы столько сменил городов, сел, квартир, лачуг, общаг. А эти - как жили тут, так и живут. Словно и время никуда не движется. За эти годы в комнатухе ничего не добавилось, не убавилось. Те же два стула и широкий крашенный табурет. Впрочем, одно изменение есть. Два портрета на стене: Витькин и его младшего брата Вовки, которого звали в детстве Кротом, за домовитость, за стремление тащить в дом каждую крошечку и щепочку. Портреты - фотоувеличение, какие делали в шестидесятые годы. К вам входил самоуверенный незнакомец и заводил вкрадчивую речь о мимолетности времени и способе увековечиться. Ходить никуда не надо. Нет хорошей фотки? Пошарьте в комод, наверняка снимались на паспорт. Квадратик с вашим пожелтевшим изображением, задаток.

Агент предлагал чудеса: соединить на портрете давно умершую тетю Маню со здравствующей тетей Зиной, лысому приделать кудри. Снимались в рубашке? За небольшую дополнительную плату на портрете вас оденут в галстук и костюм. Вот почему и Витька, и его брат на портретах были при галстуках!

Узнать их было можно с трудом. Боже! Именно на этой кровати Крот сидел голый, завернувшись стеганое одеяло лоскутное,, раскачиваясь из стороны в сторону, потом что ему так было теплее и меньше хотелось есть.

Я был далеко от Томска, когда Витька возвращался из армии домой, а потом призвали во флот его младшего брата. Он отслужил целых пят! лет на подлодке. Вернулся домой длинный, как коломенская верста, тельняге ходил, грузчиком в книготорге работал. В один из моих приездов в родной Томск я встретил Крота на лестнице у главпочтамта. Он был бледен и заговорил о своей болезни. Инвалид, дескать. Было странно: такой здоровяк... Он помер года через два после этой встречи. Мать обвиняла женщину, с которой Вовка тогда жил вольным партизанским браком. Кормила дескать, плохо.

Вчера опять Вовку вспомнили и Витька сказал:

- Лучевая... чего о ней говорить, если не полагается... На атомных подлодках заложники живут...

Витька после демобилизации почти нигде и не работал. Поехал учиться на курсы киномехаников в Новосибирск, курсы почти окончил, но повздорил с наставником. Эксплуататором наставник оказался. Витька дал ему плюху и уехал в Томск. В поездном клозете он порвал в клочки паспорт, военный билет и спустил все в клозетную дыру, омыв ее ржавой водицей из бачка.

Мать его до самой пенсии доработала на швейфабрике механиком. Приехала юной девчушкой в Томск с Украины. Знакомые тут были. Устроилась швеей. Машина строчила, только кнопку нажми. Палец прошила. Потом стала шить не хуже других. Механик машину починяет, она смотрит. Соскочит ремень со шкива, она и механика не зовет. Курсы окончила и сама стала механиком.

Студент один повадился к ней ходить в общежитие. Когда подошел срок закончить институт, студент ходить перестал. А Витька уже ходил и разговаривать учился. И Вовка готовился появиться.

Теперь Витька говорит:

- Меня делал человек почти с высшим образованием, потому я такой умный.

- Умный, как утка, только отруби не жрешь! - ругается Евдокия Васильевна. - Работать, небось, не хочешь!

Он жил по-своему. Кому часы починит, кому приемник. Телевизоры потом чинить научился. Ботинки себе купит или брюки. И ходит на Томь купаться, загорать. Выпить-закусить? Сто способов. В кочегарке при бане зайдет - свой человек. Облокотясь о верстак, Витя будет говорить: тяжело раньше было кочегару и подкатчику. Конвейера не было уголь катали в окно подвала, упирались. А возле топки - с ломом, лопатой стояли.

Теперь кочегар сантехником стал, вода и пар готовенькие подаются, а здоровье - не вернешь. А уголь какой был? Пыль одна. Вот Федоровский уголь, совсем не то, что Черемховский.

Витя с кем угодно общий язык найдет, с ученым-физиком и то мог по научному разговаривать. Бывали такие люди, которым не с кем было пого-

ворить. Витя имел много явок. Да и одет он был всегда хоть просто, но прилично. Сам умел на машинке шить, мать научила. Но только для себя шил и только в исключительных случаях. Купил он гитару и играть по нотам выучился, а потом ее на гвоздь повесил и - баста.

После выпивки обязательно шел в парную, веником хлестался, вредные вещества из себя выпаривал. В стене, возле изголовья, провертел он дыру, размером с донышко бутылки, заглушку сделал аккуратную. Ложится, открывает, чтобы всю ночь в него, в Витю, свежий воздух поступал. Вот почему я нынче так продрог. Евдокия Васильевна встала, ругается:

- Придуривается, квартиру выстуживает, а дрова-то таскать, так не хочет.

Нынешняя ночь для меня кошмаром была. Витя вчера меня соблазнил сходить в ресторан. У меня уж денег не так много осталось, с полмесяца уж не работаю, а он: то возьми, да это. Ну, съели мы по два бифштекса и по три ромштекса, и бутылки три выпили. Но три эти бутылки распределились таким образом: Вите - две с половиной, мне - чекушечку. Вышли, Витя говорит:

- Такси бери! Я говорю:

- Побойся бога! У меня уж и денег почти не осталось. Что Витю убеждать? Вышел он чуть не на середину дороги, руку картинно простер:

- Таксо!

Откуда не возьмись, милицейский фургон, выскочили амбалы, ухватили Витю за белые руки, тянут, он на меня оглядывается и жалобно так говорит:

- Глебик, помоги!

А как я помогу? Чтоб меня самого туда посадили? Отступил я потихоньку в тень, машина уехала.

Пришел, Евдокии Васильевне рассказал, она застонала:

- Ой, они его там убьют, он такой больной, вот так друг, напоил и в милицию сдал.

Вот думаю, удовольствие, пропить последние гроши, да еще эти попреки слушать. А она все свое:

- Ой, я тебя кормила-поила, мы тебя приютили, а ты чем отплатил! Может, его в живых-то уж нет, а ты пришел тут, рассиживаешься. Я говорю:

- Вы же сами его ругали, чтоб он сдох, не работает и так далее. Лучше б я не говорил этого. Она завопила:

- Молчи, говнюк! Напоил, бросил больного, беспомощного человека да еще издевается! Иди сейчас же, звони в милицию, хоть труп его пусть мне отдадут.

А времени - четвертый час ночи. Нигде поблизости и телефонной будки нет. Она опять кричит:

- Иди в проходную, на Конфетку.

Поплелся я, с вахтером объяснялся. За час до одного вытрезвителя кое-как дозвонился, Витьки там нет, а в городе - еще несколько вытрезвителей. Светать уж начало, поплелся я опять на Витькину квартиру Иду, думаю - не пустит меня тетя Дуся. Пришел, постучал, мне Витька открыл.

- Везде - люди, везде - человеки. Разве они не понимают? Понимают человек пожилой, спокойный, инвалид практически. Я им так объяснил, они и отпустили, а я им еще песню спел.

Он попытался запеть, но Евдокия Васильевна дико, закричала на него. От нее пахло валерьянкой.

Поспать довелось недолго. Я думал: боже мой, придется уезжать из родного города в глушь, к черту на кулички.

Я решил поискать себе место в Томске. Только зря время потерял. Место, может, и нашлось бы, но на квартиру или хотя бы на койку в общежитии и надежды не было. У Витьки век ночевать не будешь. Тетя Дуся только первые дни хорошо ко мне относилась, а теперь сами суп едят, а мне чаю наливают, да и то сказать, кто я им? Друг Витькиного детства?

И вот теперь пошел я сдаваться на милость завсекпеча. Да, поди, уж и место в этой чертовой дыре занято?

Милый город! Вот он верхний гастроном, здание построено не без иронии. Его венчает башня похожая на шлем витязя, слуховое окно - рот, можно увидеть и усы, и бороду, если есть капелька воображения.

Рядызданий, с высокими окнами, хитроумной лепниной. Тут всегда были банки, магазины, конторы. Угловое обширное здание смотрит на две реки: Томь и Ушайку. Богатый иркутский купец Второе построил эту трехэтажную махину. На первом этаже был самый современный по тем временам универсальный магазин, выше располагалась гостиница "Европа", в которой были и ванны, и душ, и электрические подъемные машины. У Второва был в этой гостинице особый кабинет, в котором он останавливался, когда наезжал в Томск. Кабинет этот никогда не занимали, он был роскошно обставлен.

О, гостиница «Европа»! Мужской и женский румынские оркестры, кутежи до утра! А в первом этаже - магазины. Мальчишки-грумы в униформе, смазливенькие, помогут примерить туфли, упакуют покупку, донесут до дома.

Овал-медальон, который венчает и ныне здание, выглядел каменным венком, внутри которого была надпись: "Д.Ф. Второе". Большевики написали "Дворец труда", теперь и эту надпись закрасили, она едва проступает сквозь грязно-зеленую краску.

Говорят, когда отрыли глубоченный котлован здания, его заливала! вода, тут сплошь родники били. Жидкую глину грузили в рогожные мешки и так вытаскивали наверх. Из ошкуренных лиственниц связали плоты и уложили на дно котлована крест-накрест. Вбили множество лиственничных свай. Отсыпали песчаную постель, тогда и каменчики! пришли. Лиственница с годами каменеет и стоит огромное здание непоколебимо. А под ним замурованы подвалы и ходы.

А еще говорили, когда красные подходили к городу, второвский универмаг объявил распродажу всех товаров за полцены, но все продавали только за золото вечером старший, приказчик с мешком золота спустился в подвал и у ел в неизвестном! направлении. А другие работники магазина замуровали ход.

И нынче здесь в первом этаже - универмаг. Здесь я всегда покупал себе рубашки и штаны. До войны, после войны. В воздухе здесь витает дух торговли.

Я свернул в переулок направо к красивому купеческому особняку, в котором разместился обком.

Морока с пропуском и я - вновь в кабинете у начальника. Он протянул руку, недовольно поморщившись:

- Где же вы пропадали? Просили работу и сбежали? Несерьезно это, я хлопотал, договаривался, нельзя подводить обком,

Я честно сознался, что пытался найти жилье и работу в Томске, так как хочется жить в родном городе.

- Что тебе в этом городе? Не такой уж ты юный, а к нам из Кемерово по Томи отравы течет. И воздух - какой? Каких только частиц нет. Уж я-то! знаю...

Зло меня взяло:

- Чего ж сами тут живете, а в деревню не едете?

- Ну, это уже не тот тон...

Все же сдался я. В городе даже угол не снимешь. Студенты комнатухи коммуной снимают по десять человек. Раскинь плату на десятерых не так уж дорого. Спят "в елочку", а я ж десятым быть не могу.

Завсекпеч дозвонился до - Зорянки, сказал, что меня там все еще ждут. А я подумал: ну и дырища! До сих пор еще сотрудника не нашли.

И еще одна ночь на крышке подполья в комнатухе у Витьки прошла. Витька храпел, как похмельный, а я глаз не сомкнул.

Детство тут вот пролетело. По этим улицам. Тут же - несколько домов миновать - наш дом стоит, где до войны с отцом, с матерью так радостно было узнавать самые интересные вещи! Отчего солнце светит, отчего ночью в небе луна появляется. Узнавать вкус меда и горчицы. Все - впервые!

И в школу - впервые. Здесь! Мимо рядов двухэтажных деревянных домов, украшенных резьбой. А потом война, гибель отца. Болезнь матери. Сборы к бабушке в Щучинск, мол, легче прожить. Мать сдала четырехкомнатную квартиру, обмен тогда был запрещен. Дали справку и сказали, что по этой справке на новом месте квартиру дадут. И все! После жили всегда по чужим углам. Мать у чужих людей в приживалках и померла. Помните комментарии к ботанике на шкальной скамейке, спор с девочками: да ведь это у тебя пестик, а у меня-то тычинка!

Смешно думать, что божество сидит и вычисляет: какую тычинку, какому пестикку подсунуть. А сколько бахвальства, если какая-то тычинка на два сантиметра длиннее других?! Разве ж в этом дело?

Если до сих пор я не встретил свою пару, то небо тут не при чем. Вы смотрите, как жил, где. Тогда будет кое-что ясно. Из пятого класса на работу пошел, стало быть, потеряна была связь с одноклассниками. Потом учился в одной вечерней школе, в другой. Везде - по году, по два. И там не могло возникнуть прочной привязанности, дружбы настоящей. Да и голодно было, холодно, одежка рваная. Обстановка к амурам не располагала.

Потом переезды бесконечные, города разные. Как дунула война своим огненным ветром, так и понесло меня, как пушинку.

Были, конечно, увлечения, привязанности, а позже и попытки создать здоровую советскую семью. В Щучинске в северном Казахстане жил, в Ашхабаде.

Демобилизовался. Остался в южном городе. Времянка - сооружение из фанеры и глины. И встречались заинтересованные глаза. И всякое бывало. Но чувство временного присутствия на этой южной земле не оставляло. И еще - искусственность. Местные, они ведь живут другой культурой, другими традициями. Тут или подлаживаться надо, или всерьез прошлое забывать. А прошлое вычеркнуть нельзя.

А эталоном было прошлое. Наш дом возле реки, и мать, и отец, и родичи все. Хочешь, не хочешь всегда, это носишь с собой, под любыми небесами.

И далекий дутар, и гортанный голос, сама луна все дышало желанием, горечью за каждую минуту, которая проходит зря, И тяжело было видеть красоту всю эту через призму одиночества. И если был кто-то рядом, я был все равно почти одинок. Время строить дом было упущено. Вот оно что. Оно еще раньше было упущено, тогда, в Томске.

А там, на юге, демобилизованный ефрейтор был не так уж плох. И невысок, да ладен. Все - в пропорции. И волосы темные вьющиеся, и язык должным образом подвешен, и талантов хватало. Стихи почитать, закрутить даму в вальсе. Не увалень какой-то. Быстрый, смысленый. И глаза мои девчата хвалили. Глаза почему-то всегда замечали. С особинкой, с чертиком на дне.

И всякое было, но счастья не было. Семейного - тем более. Не было, как ни вспомянай разные любовные эпизоды.

Правда, Витька вот вообще без этих эпизодов в жизни обошелся. Или почти без них. Это ведь сложно - семью создать. Это же отвечать надо не только за себя, но и за других. А Витька ни за что отвечать не хотел, ни на что тратить усилий не хотел, кроме как на свое здоровье. Остальное он хотел получать даром, если случится. А не случится - обойтись минимумом. Так он жил всегда. Так привык. Радио слушает дома, а газету ходит читать в витрине на главпочтамте. И от жизни не отстает. В эти дни мы много говорили об ушедшем в отставку лысом премьере. И Витька высказывал здравые слова. Мол, ругай, не ругай, а целина, кукуруза - дела добрые все же. И критика культа - на пользу. Общество сделало еще шаг в своем развитии. Прямо - лектор обкомовский. Профессор кислых щей.

А я всего много хотел, но мало чего получил. Работал всю жизнь трудно, учился трудно. Везде опоздал из-за войны этой проклятой, из-за препятствий почти непреодолимых. Вернулся вот на родину, а счастье-то будет ли? Откуда? И волосы виться почти перестали, и седины мою брюнетность уже проредили. От вечной сидячей жизни за письменным столом сутулость произошла, пузцо выросло, его можно скрыть, если носить рубаху на выпуск или пиджак надевать.

Завтра еду к новой жизни в деревню, но на счастье теперь уже надежд совсем мало.

Утром я прошел к Петропавловской церкви. Тоже - детство. Здесь меня автомобилем сбили зимой, проволокли до самой церкви. Как-то удачно выбросило меня из-под "Виллиса", руки-ноги целы оказались.

В голодный военный год, в эту церковь лазил с мешком вор-потихушник Витька Урасов. Окошко, через которое он лез, на порядочной высоте. К решетке веревку привязали, внутрь в церковь опустил. Набрал в мешок зерна, которое тогда хранилось в храме, привязал мешок к веревке. Влез опять на подоконник, мешок вытянул. Тут и сторож проснулся. Бежит из сторожки:

- Кто? Что?

Витька мешок сбросил, затем сам спрыгнул, сделал вид, что упал.

Лежит. Сторож подбежал:

- Товарищ! Товарищ!

Витька не дышит. Сторож пошел по телефону звонить. Витька вскочил, мешок на горбушку подкинул:

- До свиданья, дяденька! Спасибо за зерно! - крикнул Урас, убегая. Мы с Юркой Дубом стояли тогда, как говорят, на стреме. Витька попросил постоять для компании, лестно было. Он бы и без нас обошелся. Специалист. Я не раз видел, как он прыгал с крыши своего дома, тренируясь. Вечерами Витька играл на фисгармонии и мы слушали у окна. Витькина мать, вроде, торговала краденым. Тогда в конце Мухинской нынешней Сибирской, было много всяких воровских малин.

После я слышал, что Витька в Новосибирске бежал из предварилки, выпрыгнув из окна четвертого этажа на телеграфные провода. Талантливым акробатом был Урас, жаль, что не в цирк привела его судьба.

А Петропавловская церковь была возвращена прихожанам в конце войны. На полу еще лежал войлок, посланный там для тепла, дабы не поморозить зерно. На чердаке нашли поломанную фисгармонию, икону с ликом Божьей Матери. Священником там был Николай Сперанский, вернувшийся из лагеря. По Тверской был устроен крестный ход, что вызвало у людей разные чувства. Это ведь тоже была оттепель, объединение людей, обращение к их интересам.

Прихожанами Петропавловской церкви были такие знаменитые томичи, как доктора Сибирцев, Яблоков, Савиных. Все они не раз проходили по моей родной улице, мимо нашего дома. А теперь я прощался и с улицей, и с церковью, и со многим, что здесь было.

2. ЦЕННЫЙ КАДР

На базаре была стоянка автобусов. На них не было табличек, как теперь, а просто кондукторы-женщины выкрикивали название маршрута, сзывая своих пассажиров.

В ожидании автобуса, я в своем ашхабадском плаще окоченел до посинения. Мужики в полушубках пристально разглядывали меня. Один сказал:

- Вот до чего допиваются, прости господи!

Выехали за город. С тоской я разглядывал пробежавшие мимо пейзажи. Это не тайга даже, а болото, утыканное прутиками. Чахлые, кривы деревья. Разве сравнишь это с берегами Томи, по которым шумят изумительные боры, поднимаются синие и белые утесы?

Со всех сторон меня сдавили пассажиры, я стоял на одной ноге, но я даже был рад тесноте, до того я заоченел. Пахло овчиной, самогоном, немилосердно трясло. Говорили, что скоро пути на Зорянку не будет, половодье каждый раз сносит мост. Потом его будут долго ремонтировать. Нам еще повезло.

В Зорянку приехали в темноте. Переночевал в районной гостинице, где в одной комнате храпело шестеро мужиков. В половине пятого в коридоре загалдели. Господи! Я-то ночевал прежде в столичных гостиницах в Москве, в Киеве, в Тбилиси, в Баку, в Ташкенте и Ашхабаде. В Киеве у меня в люксе стоял сервант с хрустальной и фарфоровой посудой, было в номере даже фортепиано, а в окно я видел Крещатик. В Баку я был в таком огромном ресторане, что в нем можно было заблудиться, как в лесу. В Тбилиси я пил Кинзмараули в ресторане на горе Мама Давида. А мама по-грузински означает – отец. Был такой святой отец Давид, который Грузию от вражеского нападения спас. А гора какая! Там в пантеоне лежат грузинские цари и князья. Я поклонился там могилам Грибоедова, Ильи Чавчавадзе, Акакия Церетели. И вот эта изба с вонючими матрасами, коридор с бачком к которому прикована цепью алюминиевая кружка. М-да! Заехал!

Встал. Пошел искать редакцию. В обкоме мне ориентиры дали. Нашел. Если бы не табличка красная с вызолоченными буквами, ни за что не поверил бы, что это - редакция. Орган! Обычная крестьянская усадьба: два дома, сарай, лошадь жует сено. М-мать!

Первым пришел типографский мужичок, печатник. Лошадь зачем? А как же! Подвезти что, поехать куда. По здешним дорогам - лучший транспорт, тише едешь, дальше будешь.

Тоска взяла. Неужто мне тут умереть? Я столько проехал, я столько видел, и на тебе... нашел Эльдорадо. Это совсем не Риодежанейро и даже не Ашхабад. Все прошло, ничего не будет. Что тут может быть-то? Ну, разве лошадь лягнет и сделает инвалидом?

Пришел редактор, худощавый, высокий, бравый и со шрамом на щеке, как бурш. Бывший учитель немецкого. На фронте сидел впереди всех и агитировал немцев через радиоусилитель. Понятно, что по нему лупили и минометов. Однажды мина влетела в его окопчик, разворотила ему живот, да и сама же его похоронила, засыпав землей.

Очнулся он, откопался, санитары как раз мимо шли. Оттащили его санчасть, там врачи велели его положить вместе с умирающими. Чего? Живот разворочен весь, земли туда насыпалось. Не жилец. Лежал, три дня не ел

но не помер. А тут в аккурат двадцать третье февраля. Раненым спирту дают в честь праздника. Он попросил тоже. Шепотом сказал.

Дали спиртику. Выпил, есть захотел. Дали чего-то жиденского. Еще три дня прошло - живой. Ест помаленьку.

Ну что? Живого хоронить не будешь. Повезли в госпиталь. Живот промыли, зашили, а оперировать не стали: умрет, мол, все равно. А он все жил. Удивлялись потом. Профессор приезжал его осматривать, какую-то теорию подвел под его необычайный случай.

Рассказал он свою историю, вижу - моей исповеди ждет. А что рассказывать? Конечно, мне тоже случалось на волосок от смерти быть и не раз. Но разве меня так изуродовали, как его? Разве его страдания с моими можно сравнить?

- Чего ж с юга да в Сибирь наладились?

- Не климат, - ответил я. - Верит? Или думает, что я запойный?

- Будете у нас заведующим отделом писем. Месячный испытательный срок, как везде, - извиняющимся тоном сказал он.

Наконец-то! Не просто так, заведующий! Пусть на болотной кочке, но при должности, может, будет и кабинет отдельный?

Мечта об отдельном кабинете не сбылась. Отдельный был лишь у редактора - Сергея Ивановича Пыжова, а меня поместили вместе с ответ-секретарем. Он представился:

- Прокошин Виктор Васильевич!

Белые волосы, ноздреватый нос и большие, голубые, сияющие глазищи. Ему тоже под пятьдесят, как и редактору, тоже бывший фронтовик. И тоже чудом не погиб.

Капитан вел роту в атаку. Контузило. Наши отступили, а его немцы уволокли в свою траншею. Рады были: важного языка взяли, может, награду дадут. Санинструктор ихний воды дал, остальные косились. Начали допрос, а тут мощный артобстрел, траншею снаряды накрыли. Старший немец дал команду отступать, а санинструктору велел добить раненого. Тот подмигнул Прокошину, дал очередь вверх и убежал. Отлежался Виктор Васильевич и к своим пополз.

Теперь он сидел напротив меня, говорил, курил махорку, сворачивая сигарки одну за другой.

- Как хорошо, что мне курящий попался сосед, а то тут женщина одна сидела...

Потолок был низкий, рамы были заколочены и все швы бумагой проклеены. В комнатухе было темно от дыма. Но не мог же я сказать ему о своем недовольстве? Вот, скажет, - мужик тоже. Тем более, что я сам курящий. Я стал выходить покурить в коридор, а он:

- Курите здесь, что за церемонии? У нас тут, слава богу, девушек нет!

Намекнул ему на то, что дым вредно влияет на сердце и нервы, мол, статью в центральной газете читал. А он:

- Мы - крестьяне. Корову кормить надо? Вот, летом берешь косу, цесь никотин на лесном воздухе из тебя и выходит...

О, черт! Привык человек работать с сигаркой и все тут! Так мне и редактор сказал. Мол, вы уж его не трогайте, а то у него вдохновение пропадет.

Я попросился у редактора в другое помещение. Маленькая прихожка возле двери, ведь можно там стол поставить? Редактор говорит:

- Вот, чудак! Там же от двери дует! Мы ж хотели, как лучше. Что, в! самом деле, хочешь в этот предбанник? Ну, как знаешь... Прокошин был тоже удивлен:

- Одному же скучно! Посиди-ка один восемь часов - с ума сойти!

Вот, думаю, не понимает. Ему-то макеты можно рисовать и болтая о разных разностях, а я писать должен, у меня голова-то не железная да еще смог этот постоянный.

Станным выглядеть всегда неприятно, но что поделаешь? Перетащил я свой стол в прихожку.

Болела голова: не выспался в гостинице, а писать приходилось много, хотелось показать себя на новом месте. Под свой стол я сунул старенький баульчик, там - смена белья, пара книжек, несколько фотографий.

Типографские нашли мне квартиру: полдома у бабушки Митихи. У меня в распоряжении появилась комната с простым дощатым столом и кроватью с шишечками, с ложем из трех широких плах.

Бабкина половина дома - окнами на улицу, моя - на огород. За жильё бабка брала всего пятерку, но настаивала, чтобы срочно купил дрова:

- Мало бы, что скоро лето, ан и зима будет, а еще и в апреле колотун забьет. Покупай дрова, не то мои таскать будешь!..

- Что вы!

- Не что, а точно...

Дала мне матрас, лоскутное одеяло, подушку. Она и пустила-то меня с расчетом, чтоб другая половина дома отапливалась. Пришлось купить дрова, они в безлесном этом районе были дороги.

Уложил дрова в поленницу, печку решил протопить. Жег солому для очистки дымохода. Насобирали во дворе сухой коры. Разгорелись дровишки. Я уже пил чай, когда над раскалившейся плитой что-то треснуло. По печи от потолка до пола протянулась трещина, очень широкая и рельефная, с потеками копоти. Извивы ее напоминали карикатурный профиль турка.

После, не раз, возвращаясь из редакции, я первым делом видел нос этого "турка", его язвительную улыбку. Я ему говорил "салам алейкум", а он молча кивал мне. Я подбадривал его, иногда и себя. Я жаловался ему.

Однажды, когда я вернулся домой не слишком трезвый, турок прохрипел у меня над ухом:

- Настурции не продавай!

- Век свободы не видать! - побожился я в ответ.

Когда пробилась первая травка и бабка Липиха погнала свою буренку в табун, единственный в Зорянке, я напомнил турку не без ехидства, что в Томске у нас до войны было около двадцати табунов, только в нашей слободке было их два: Мухинобугорской и Казанский, а за Ушайкой поднимали утром пыль

коровы Петровского и Песочного табунов. У нас там бань тогда было около тридцати, а здесь всего одна, и та зачуханная. У нас в городе было двенадцать рек, одна из них - Томь, великая река. А здесь - единственная речка.

А у нас столько садов, роц, бульваров! Роци: Украинская, Вагановская, Михайловская, Королевская, Университетская; сады: Алтай, городской, Лагерный, да мало ли? Здесь - лишь сквер на бывшем кладбище, где теперь мажут вонючей краской перильца танцплощадки и стенки киоска. Разве мы с турком мечтали посещать этот сквер?

А ведь были и у меня танцплощадочные триумфы. Как волнует духовая музыка, отраженная зеркалом Белого озера! Вальс. Потом идем мимо Чавеловского рва, на дне которого дремлет черная Березина баня. Таинственная и любимая родителями за особенный пар. Чавеловский лог прорыт речкой Белой, из нее и брали воду для бани.

После гражданской войны решили очистить озеро от мусора и трупов. Забутили на дне родники мешками с песком, откачали воду. Очистили дно, а многие родники потом больше не возродились. Стало озеро мелководным, стало зарастать у берегов травой. Обмелела тогда и речка Белая. А через много лет история повторилась. Решили озеро почистить после Великой отечественной войны. Опять забутили родники на дне. А когда убрали мешки с песком, то увидели, что озеро родниками уже не наполняется. Налили в него хлорированной воды из водопровода. А речка Белая, точнее - остатки ее - исчезла навсегда.

И вот прижимается ко мне девчушка, с которой был на танцах. Углубляемся в Михайловскую рощу. Силуэты брошенных старинных домов, фонтан - кедр. Когда-то по его ветвям струилась вода из замаскированных трубок. Теперь это - просто старое дерево.

Сломал ветку и обмахиваю с барышни комаров. Королевская роща. Берег, остров, где у купца была купальня. А там еще недавно мастера запруживали речной рукав ивовыми плетнями. Это были как бы бродильные чаны. Здесь в теплую погоду толкли шкуры с ивовой корой, дубили кожу. Толчейки! Вода бурлит, словно в котле. Остудить горящее лицо речной водой, разуться, идти вброд с барышней на загорбке. В ней и веса-то нет! Целовать сухие, потрескавшиеся губы, взбираться вверх по Ново-Киевской, где тихо спят приземистые избушки.

Турок! Разве есть что-то подобное в Турции!

Эх, турок! Томичи никак не хотели уезжать от красоты этой: от садов пышных, от резьбы деревянной, от балясин, лестниц скрипучих, от медового цвета шлифованного дерева. Сын богача – Николай Королев - не покинул этот город после революции, стал извозчиком смиренно возил на своей пролетке секретаря ВКПб. И родич другого именитого купца - тоже стал извозчиком, возил он начальника черезвычайки. Возил и щеточкой с сиденья пыль перед ним смахивал.

Потешались тогда томичи. Кто-то и злорадствовал: вот, мол, как жизнь повернула! Так и надо вам, кровососы дремучие! А ведь купцы да и дети их остались здесь именно из любви к родине своей прекрасной! Ведь не могли не знать, что здесь им будут всегда глядеть в спину. Не могли не предвидеть печального конца своего. Остались. Лучше умереть в родном городе. И дождались своего конца. Их-то в годы репрессий арестовывали первыми.

А я сам вот уехал. Правда, не так уж далеко. Если и за границу, то только за границу Томского района. И хожу с Томском в сердце. И читаю газету "Зорянский труженик", стремлюсь не пропустить ошибок на ее страницы, когда меня оставляют дежурить. Делаю свое дело. Вчитываюсь в самый мелкий шрифт, в нонпарель. Зарабатываю себе катаракту на старость лет.

Ответсек Прокошин за читкой газеты просто зверел и курил еще больше обычного. Он хотел хоть одну газету выпустить без ошибок, но, никак это ему до сих пор не удавалось. И корректоры газету читают, и ответсекретарь читает, и дежурный читает, и все равно две-три ошибки обязательно в очередном номере будет, проскользнет. Я Виктора Васильевича утешал, дескать, сам издатель Сытин, знаменитейший из знаменитых, однажды хотел выпустить книгу без единой ошибки. Сам корректуру держал, тщательно все вычитывал. И что же? Из текста он все ошибки изгнал, но не заметил ошибку в заголовке!

И вспомнил я рассказ одного томского театрального деятеля об одной суперошибке. Она могла бы стоить жизни многим томичам. Работал в Томске в войну эвакуированный белорусский театр. Замечательные! артисты в нем выступали. Сколько раз в детстве, отрочестве испытывал я восторг и преклонение, сидя в зрительном зале.

И вот в 1943 году решил этот театр поставить новую, злободневную пьесу под названием "Сталинград". Представитель театра пошел в типографию газеты "Красное знамя", в бывший дворец купца Сосулина, заказал там афишу. Пришел за ней поздно вечером, когда и наборщики, и печатники, уже ушли со смены. Дежурный по типографии выдал представителю театра заказ. Развернул он рулон с афишами и побледнел. На афишах, крупными красными буквами было напечатано: "СТАЛИН-ГАД". Этот театральный деятель был умным человеком, он спросил дежурного:

- Форму уже рассыпали?

- Рассыпали, - сообщил дежурный.

- Хорошо, спасибо, - сказал посланец театра, - свернул афиши, и ушел. Он быстренько отнес афиши домой и все, до единой, затолкал в печку. Утром он опять пошел в типографию и сказал:

- Знаете, нам того тиража оказалось мало, отпечатайте еще. И отпечатали. На этот раз в афише все было правильно. Так этот человек предотвратил большую беду. Если бы слухи о "СТАЛИНГАДЕ" распространились и дошли бы до кого надо, многие головы бы с плеч полетели. А уж как эта ошибка получилась - нечаянно или по умыслу - теперь не отгадать.

Я не мог проводить свой досуг всегда только с турком. Однажды я отправился вечерком на танцы. Возле танцплощадки дымили костры, танцующие держал и в руках ветки и обмахивались ими. Хрипел динамик, кружились пары. Радиола озвучивала танцы пока отдыхал баянист Тужиков. Небольшим ростиком, острыми зубками и масляными глазками напоминал он японскую собачку. Недавно освоив на курсах ноты, он говорил приятелю:

- Вот так, сам себя возвышашь!

Я разговорился с ним, он пригласил меня в гости. После танцев пошли к нему домой. Встретила нас жена-сожительница баяниста.

Степан говорил ловко, сыпал прибаутками, выдавал сальности. Но непрочь был и новые познания в речь включить:

- Сейчас она - си минор, а когда познакомились - ля мажор была, - кивал он на девушку Оксану. - В Омском народном хоре пела...

- Правда что ли?

- Правда, - ответила она и показала грамоту за какой-то там фестиваль. - Можно было и дальше петь, обстоятельства...

- А вы как - к нам? Через это дело? - Степан щелкнул себя пальцами по горлу, - или еще как? Не добровольно же в такую дыру забились?

- Ну, можно считать, что я - не через это дело, а скорее - еще как.

- Понятно! - важно кивнул Тужиков. - Ну, за все хорошее! Он наполнил стопки чем-то янтарным. Я глотнул и чуть не задохнулся. Привкус питья был резким. Что? Ликер такой странный?

Степан хохотал:

- Мамка - в райпищекомбинате. Кислота лимонная и еще кака там...

- Так ведь язву нажать можно и разве в кислоте градус есть?

- Есть, - убежденно кивнул он, - крепость-то чуете? Как же без градуса. А язва? Ни в жисть. Я этой кислоты, знаете, сколько выпил похмелья особенно хорошо.

Я поспешил зажевать жареным картофелем зловердную жидкость.

- По второй? - спросил Степан. Я покачал головой. Что он - издевается? Но он пил свою кислоту с удовольствием. Ну, возможно, ему и кажется, что она ему добавляет хмеля, ведь перед танцульками он самогона с литр выпил, сам сказал. Он это практикует для вдохновения.

- Чо сыграть? - поставил Тужиков баян на колени.

- Пусть Оксана споет, а ты подыграй.

Оксана отерла руки передником, стала, как привыкла в хоре стоя

- Я вернусь к тебе, моя Россия! - сильным чистым голосом запела она. Тужиковский баян лишь ритм задавал, словно ворковал голубь где-то под крышей, да вздыхал кто-то большой и суровый.

- Я вернусь...

Ну да! Щемящая эта мелодия давно мне знакома. Но голос Оксаны наполнил ее такой страстью, таким неподражаемым тембром, такой тоской.

- Я очень край свой люблю, - тихо сказала она, - и Зорянку.

Но почему - Тужиков? Вот чего я никак понять не мог. А впрочем чего непонятного? Так это и бывает. Аккомпанировал он ей в концертах. А с кем ей еще тут водиться? С тугими на ухо мужиками? Ей, артистке?

Я заметил, что она на Тужикова поглядывает свысока, с иронией некоторой и грустью. Конечно, она знавала лучшие дни. Что-то случи лось с ней там, в омском хоре, обида, может, была. Мало ли что? Спрашивать же не будешь? Тем более при Степане.

Вообще-то я мог бы, наверно, отнять ее у Тужикова. Но полной уверенности нет. Да и зачем? Голос? Да. А интеллект? Хористка. Степан. Общество.

- Заходите, заходите!

- Непременно, а как же!

Я пошел на берег Чулыма. Я был как на дне бутылки-огнетушителя. Их еще зовут долгоиграющими. Портвейн. Все вокруг было густо зелено и отливало синью. И булькало глухо. И пьянило, и парило. Звенело. Комары одолевали, духотища. Я - в бутылке. Толстые стены из зеленого стекла. Есть же выражение - загнать в бутылку. Вот меня и загнал завескпеч с бородавкой на щеке. А сам ходит по томским проспектам: "Вам с эссенцией. "Двойную пожалуйста!" Ну, погодите! Я из бутылки вылезу! Обязательно!

3. ХОЧУ ПОМОЩНИКА

Я уж давно терзал редактора: как так? В сельхозотделе редакции есть литературный сотрудник, а в отделе писем его нет - почему? Писем вон сколько! Я же не машина. Я и на письма отвечаю и промышленность освещаю.

Как это нет? А птицекомбинат? Пряники выпускает, лимонную кислоту делает, я сам ее пробовал!

Сказав «лады», однажды утром редактор привел ко мне в редакционный предбанник сотрудника, а скорее - девочку-подростка, мосластую, с челкой прямых волос над карими глазами. Короткая юбочка в складку, комсомольский значок на безрукавой кофте.

- Вот тебе литературный сотрудник! - сказал редактор, - поучи ее, - ты должен быть еще и педагогом.

Редактор ушел. Девочка, или черт знает что, села напротив на табурет, глядела исподлобья, потом протянула руку корабликом:

- Света.

- Гм... вам нужен будет стол, рабочее место. Как же быть? - Заведующий! - сказала она весело, - зачем нам стол, мы будем за одним столом, рядом, в тесноте да не в обиде.

- Гм, ну, пока можно и так. Хотя непорядок вообще-то. Вот вам письмо. Попробуйте его обработать, то есть выжать из него воду, оставив главное. При этом желательно сохранить стиль автора.

Она пробежала письмо глазами, отодвинула его и неожиданно сказала:

- Кавалер, одолжите папироску?

Чего она тут эстраду устраивает? Вот покажу ей сейчас, как надо со старшими разговаривать!

А она:

- Не сердись, заведующий, курить очень хочется, у вас ведь есть сигарета, заведующий?

Я дал ей сигарету, она сказала:

- Айда на крылечко, подымим!

Еще чего не хватало, что сотрудники скажут?

- А что они могут сказать? Захотели люди курить и курят. Вы бюрократ, заведующий?

-Откуда ты такая взялась?

- Откуда все люди берутся. Айда, подымим, заведующий, не бойся ты!

Вышли на крыльцо, она присела на перильце так, что мини-юбочка обнажила всю ее тощую ляжку. Попросил ее рассказать о себе.

- Чо рассказывать-то? Малолетка я еще. Ты меня сильно не нагружай, заведующий. У подростков организм нежный... Да не отказываюсь я от работы! Но сразу-то не нагружай, ладно? А то письмо сразу сует... А?

О себе? Ну слушай...

История ее была простая. И сложная. Окончила девять классов нужно было досдать. Директор дал задание отловить для школьного зооуголка не менее двадцати лягушек. Они ловились неохотно. Света поймала только пятерых. Принесла в ведре с водой и болотной тиной в школу, думала - не разберутся.

- Все двадцать? - спросил дотошный директор.

- Сам считай! - крикнула заполошная Света и выплеснула воду с лягушками на директорский стол. Лягушки тяжело плюхались с директорского стола, директор взывал к милиции и богу.

- Врешь поди?

- Истинный крест! - сказала она серьезно. - Я психическая, заведующий, имей в виду, покалечу.

- Ну я просто пойду к редактору и откажусь от тебя.

- Да пошутила я! И насчет лягушек, и вообще...

- Но для шутки очень уж реалистично все.

- Ладно. Было. Но разве это честно? Насобираешь лягушек - приму экзамен, нет, - так и не приходи сдавать. Жлобы!

- Ты как этих лягушек ловила? В болото лазила?

- Чо я дура совсем? Я их вообще в руки не брала.

- А как же?

- А юные пионеры - на что? Я же вожатой была. Вот они и лазили болото, а я на кочке с ведерком сидела, понятно?

- Ну выгнал он тебя из школы, что было потом?

- Потом - осень, я сама стала учительницей.

- Ты?! Тебя еще саму учить да учить! И вид несолидный, пигалиц, Сочиняешь ты что-то.

- Заведующий! Далекая татарская деревушка. Там люди русского языка не знают. Таежники. Свежего человека раз в год видят. Ребятишкам сказку про сапоги-скороходы, да про Емелюшку расскажешь, они и довольны.

Я и взрослых учила. Озерко у них заморное, лунку продолбишь рыба на лед выбрасывается. И я им объяснила. Дескать, дурни вы! Без рыбы останетесь, рыбе кислород нужен. Берите пешни, долбите проруби в разных местах, да регулярно их очищайте, чтоб не сковало.

- А что, они сами не знают, если таежники?

- Не знают, представь себе. Оторвались от природы, хоть на природе живут. На ферме хвосты коровам крутят, потом самогон пьют. Забыли, как с лесом, рекой общаться. А у меня отец - хантыец, у нас все - потомственные рыбаки...

- Хантыец отец, а фамилия Петрова?

- Ну и что? У них у всех давно русские фамилии, крещеные. А я вообще на материну фамилию записана.

- Почему же?

- А они брак не регистрировали.

Я внимательно оглядел ее. А черт его знает, может, не врет. В каждом русском татарин сидит. Покурили. Говорю:

- Ну, ладно. Бери письма обрабатывай.

- Ну их! Бредятина какая-то! Заведующий! Давай, я буду номера на письмах ставить, подшивать их, за сигаретами тебе ходить.

- Ну это - детский сад. А я в няни не гожусь. Ты вот что, напиши обо всем, что мне о татарской деревушке рассказала, как учительствовала. Должен неплохой очерк получиться. Садись и пиши.

- Обстановка не та. Не могу я тут, отвлекаюсь, может, дома в тишине попробую. Заведующий, не забывайте об охране труда подростков... Можно, я в сельпо схожу, ирисок купить?..

Она ушла и вернулась только к концу работы, к шести. Я стал ругаться:

- Так у нас дело не пойдет! Это фактически прогул» я скажу редактору, чтоб он меня освободил от твоих услуг.

- Заведующий, давай я на машинке попечатаю, хочешь?

- Что значит - хочешь? Я ничего не хочу. Но у нас есть работа, которую надо выполнять, чтобы получать за нее деньги.

Мне нужно было снять с некоторых писем копии, она стала их перепечатывать, ударяя по клавишам машинки одним пальчиком, несмотря на мои окрики, курила прямо в помещении, а если появлялся редактор, прятала горящую сигарету в ящик стола и разгоняла дым подолом коротенькой юбочки и это было похоже на варьете. Из ящика шел дым, как из вулкана. Так и до пожара недалеко, все дома вокруг деревянные, да и редакция наша такая же. О, черт! Вот еще. головная боль незапланированная!

Все уже ушли по домам, опустело здание редакции, я сказал решительно:

- Хватит!

- Заведующий, а если я в охоту вошла?

- Надо в охоту входить в рабочее время, а не после...

- Бюрократ вы несчастный! Ну идем. Заведующий, давайте я вам красивейший яр покажу? Вы же засохли за работой, а на Чулыме так хорошо теперь!

У каждой реки один берег выше другого. Мы долго шли тропинками по краю обрыва. Вышли на высокий мыс. Противоположный берег был пологим и покрылся сочной травой. А здесь берег обрывался круто и деревья на краю обрыва из последних сил цеплялись корнями за почву. Мы присели в какой-то ложбинке на упавшую сосну.

- Как Чулым?

- В сравнении с Обью и Томью - ручеек просто.

- Ага, ручеек! Катера ходят пассажирские, плоты сплавляются. Мы на байдарках по Чулыму аж до Хакассии доходили... - Светка запустила руку в карман моего пиджака, выудила сигарету, закурила.

- Айда! - сказал я, - еще обвинят в совращении малолетних.

- А хочется совратить?

- Я пошел!

Она притоптала окурок, Нескладная, с выпирающими лопатками, неоформившейся грудью, чуть сутулящаяся:

- Не такая уж я малолетняя, заведующий!..

Радости оттого, что в мой отдел дали сотрудника не было никакой. Ни писать, ни читать письма Светка не хотела. Просила, чтоб послал ее куда-нибудь, зачем-нибудь. Но я бы и сам с удовольствием улизнул куда-то от рутинной работы из душного помещения, тем паче, что на дворе было короткое, но яркое сибирское лето. Светка целыми днями сидела возле меня на стуле, то анекдоты травила, то сигарету у меня выпрашивала. Был у нее еще такой прием, станет перед столом и поднимет согнутую в локте руку:

- В туалет выйти можно?

Не скажешь же, мол, не ходи? Она уходила во двор, а возвращалась через час, а то и через два или даже три. И пожимала плечами, если я возмущался:

- Странное дело, каждый бывает в туалете, сколько ему нужно...

- Ты добьешься, что тебя попросят из редакции.

- Ну и что же? Банщицей пойду в мужское отделение, я об этом всю жизнь мечтала.

О боже! Не мог ты мне послать в сотрудницы какую-нибудь милую, добрую, отчаявшуюся в поисках собственного семейного очага журналисточку лет этак двадцати семи? Увы, бог не принимает заказы у старых холостяков. Да не до хорошего, просто бы сотрудника, который бы не место занимал, а помогал бы, послал бы господь и то было бы дело. Пожаловался я Пыжову, а он сказал:

- Ты же мужчина, Глеб Николаевич! И что за командир такой, который даже одного подчиненного не может воспитать?

- Так ведь несовершеннолетняя.

- Ну что же? Ей до совершеннолетия год остался. Да мы в ее годы уже на фронт ехали. И вообще. Девки, они раньше парней в ум входят. Несовершеннолетняя! А как в школе? Приходишь, а на тебя смотрят сорок сорванцов, у каждого - характер. Учись руководить, воспитывать.

- Ладно, попробую...

- Тебе проще, ты мужчина еще холостой, - с некоторым оттенком грусти сказал редактор. Грусти и зависти - я бы уточнил его настроение.

Я шел домой и думал над этими словами. Холостяк? Скоро будут говорить - старый холостяк. Пока еще я могу пользоваться некоторым сочувствием женщин. Но как долго это может продолжаться?

Бабка Липиха нередко совала мне то кусок рыбьего пирога, то пяток ватрушек на тарелочке. В немалой степени тому способствовало мое одинокое положение. Я это признавал. Но, не на всех моя одинокость уже производила впечатление.

У Липихи поселились две дальних родственницы, приехавшие из глухой деревушки. Два херувимчика, дышавших здоровьем, лесным ароматом, свежестью рек и озер. Машенька - пухлая, с абсолютно родниковыми, невинными, невинными глазками и Анфиса - смугловатая, сухая. Обе с милыми припухлостями девичьих подбородков, быстроногие очаровашки.

В их деревушке вообще не было школы, они ходил и в свою семилетку в другую деревню, по таежным тропам и по снежной целине на лыжах. Теперь приехали в Зорянку получать среднее образование.

- Потом поедem в Томск, в университет! - сообщили они мне. При этом я прочел в их глазах: сосед староват, жаль.

Какие-то сумрачные бородачи привозили моим новоявленным соседкам мед, сало, окорока, варенья. Бородачи степенно пили чай с бабкой Липихой, просили присматривать за девчатами и уезжали.

Через какое-то время появился Колька. Парень, который прежде учился с ними вместе, а теперь стал учащимся новосибирского речного училища. Был он в бескозырке и тельняге. Машенька и Анфиса возились за стенкой с этим сухопутным моряком так, что у меня штукатурка обваливалась. "Турок" становился все мрачнее и рельефнее и, казалось, плакал.

Однажды я не вытерпел, хотел немножко пожурить соседок, с опаской отворил дверь. На широченной кровати, отсутствовавшей бабки Липихи, Колька лежал на Машеньке, завернув ее полные ноги себе на плечи. Акилина щипала Кольку за больное место. Все трое хрипели, пыхтели, хохотали.

- Жир! - осипшим голосом пояснила мне Машенька, - убирая ноги с Колькиных плеч, оправляя сарафанчик.

- Жир! - подтвердила Анфиса, щеки которой ярко пунцовели, несмотря на природную смуглость.

- Сам-то поди в молодости тоже жировал? - вопросительно сказала Машенька.

Я вздохнул. Я рос не в деревне. Невинная забава юных. Городские ныне называют ее нерусским словом петтинг. Но насколько юморнее, добрее это деревенское словечко - жир!

Я включал на полную громкость приемник, но сквозь джазовые ухищрения, сквозь страстные зовы труб и грохот барабанов из-за стенки доносились смех и стоны жирующих. Я клал голову под подушку. Черт бы вас подрал! И куда Липиха смотрит? Мне завтра на работу, мне выспаться надо.

А Светка опять после работы зазвала меня посмотреть какую-то особенную поляну, где растут совершенно удивительные цветы. Мы ушли далеко за село. Просвеченные солнцем березовые колки, поляны с яркими цветами, гудение шмелей. Букеты, колкость травы, придорожный родничок, который давно никого не поил.

Возвращались мы затемно. Дома Зорянки темнели силуэтами. Заходили мы в село в каком-то незнакомом мне месте, шли через болото, чвакала постеленная на кочки доска.

В дремучем проулке присели на бревна покурить. Светка спросила спички, они у меня кончились, Светка сказала:

- Счас!

Она привстала на бревнах, потянулась через штакетник и стукнула в окошко крохотной избушки:

- Огня дай!

Кто-то подал ей спички, Светка крикнула:

- Спички потом отдам, не подглядывай! - и приобняла меня свободной рукой.

- Кто это там?

- Да так, никто, сиди спокойно, заведующий...

Обедал я обычно в столовой, где обычно питались молодые специалисты райцентра: врачи, учителя, зоотехники. Мы уже знали друг друга, кивали.

В тот день на обед были пельмени. Районные повара тогда еще не умели жульничать по-городскому. Пельмени ручной лепки были, как домашние. Я взял ложку, глотая слюнки. Я не заметил, как возле столика возникла костлявая баба Яга и с нездешней силой трахнула кулаком по столу, так, что несколько пельменей выскочило из моей тарелки.

- За мой цветочек полевой, глаза твои гадские вытащу!.. А еще через день дама с повадками кошки, крутой грудью и тщательно завитыми кудрями столкнула меня с тротуара к забору и зашипела:

- Ну как она забрюхатела, я тебя со света сживу!

- У-у-у! - звучало в голове пока шел до редакции.

Вскоре появился наш редактор - бурш. Тонкий, стройный в свои пятьдесят. Шрам глубокий, белесый. Мудрость во взгляде, искушенность:

- Зайди! Зашел.

Он криво улыбнулся:

- Знаю, знаю. Виноват перед тобой. А что было делать? Сотрудники-то требуются! Да и девчонке помочь хотелось. Да ты не волнуйся, их тут знают, особенно маму, так что не бойсь, работай спокойно.

- Ага, спокойно! Пельмени из тарелки выскакивают.

- А ты дома питайся.

- Окна выбьют.

- Пусть попробуют...

Я пробирался в редакцию задворками. Однажды подал заявление на увольнение, которое редактор спрятал в сейф сказав:

- Одумайся, вместе посмеемся...

Это был странный период, когда я бродил по лесным полянам, пил самогон с лесорубами, а при посещении сельхозбригады со мной произошел совсем уж странный случай.

Деревушка затерялась в логу: песок, сосны, речушка малая, обрыв. Красота грустная, глухая, щемящая. Приехал я сюда на тракторе писать очерк про единственного на всю округу дояра, думал, что у него и заночую, в быту его понаблюдаю.

Изба Матвея Трапезникова была расположена не так как у других людей. Сразу за калиткой виднелась баня, чуть дальше были колодец и нужник, с примыкавшей к нему поленницей и лишь в глубине двора, за огородом, увидел я избушку, возле которой желтели ягоды боярышника, не склеванные пока птицами.

Я представлял себе Матвея дюжим мужиком, в телогрейке и керзачах. А на крылечке сидел молодой человек в тельняге и остроносых ботинках и толлок в миске лук большой самодельной толкушкой. Аромат был такой, что я невольно сглотнул слюну.

Может, это - сын дояра? На всякий случай я спросил:

- Нельзя ли увидеть Матвея Трапезникова?

- Так это ты - Ге? - сказал он, поднимая толкушку, - объяснять прибыл, сука? Счас врежу промежь рогов!

Руки у парня были худые, длинные и все в наколках. На руке, в которой он сжимал толкушку, был выколот кинжал с обвившейся вокруг него синей змеей.

- Я из редакции, - сказал я.

- Вот, вот из района, инициал твой - Ге-е, верно? - он сверлил меня глазами.

- Вообще меня Глебом зовут, но вы принимаете меня за кого-то другого.

- Наглость какая! Может, ночевать у меня не забоишься?

- Да в чем дело-то?

- Спрашивает еще! Катька из райцентру так и писала, мол, Ге, открыл ей глаза, что она молодость со мной зря губила. А больше, мол, не спрашивай, этот Ге поедет в командировку и все тебе объяснит.

- Ошибка, - сказал я, - никакой Катьки не знаю, объяснять нечего, я очерк про дояра приехал писать, ведь вы дояр?

- Дояр. Ну ладно, писать, так писать. Айда к колодцу.

- Это зачем?

- Я спущусь с бадьей, а ты рукоятку будешь придерживать, потом меня выкрутишь. Темнело, двор этот на отшибе, нигде - ни огонька, только луна ныряла в облаках. Колодец глубоченный, чернота в нем. Думаю: спихнет меня туда и крышкой прикроет.

- Ручку придерживай, все равно не убьюсь, вылезу, из-под земли достану, понял?

- Не очень.

Запах полыни, прелой ботвы, мяты.

- Крути назад! - ухнуло в колодце со звоном.

Выкрутить его наверх ничего не стоило, хотя казалось, что будет нелегко. Но он сам лез вверх, упираясь ногами в сруб, лишь рукой придерживался за бадью.

- Во! - показал он мне поллитровку, - сейчас, дорогой Ге, ужинать будем. Зелье придется поглубже прятать, не то кореша-годки живо ноги приделают. А вообще избу не запираю даже.

Вошли в избу, он накромсал сало большим острым ножом, поставил миску с толченым луком, огурцы располовинил, присыпал солью, налил по стопарю:

- Дергай! Чуешь, как огурец пахнет, с грядки только что. Жуй, да на боковую трахайся, завтра рано поедем на стан.

Меня он в горнице положил, а сам в кухне на лавку лег. Я долго не мог уснуть: вот влип! А когда открыл глаза, понял, что уже утро. Матвей уже оделся, он сказал мне:

- Айда, машина ждет, завтракать в поле будем.

Подошел грузовик с пустыми бидонами, в кузове было несколько женщин. Влезли и мы туда же и по полевой дороге поехали на стан.

Загон там, лавки и стол в землю вкопанные. Пастухи на лошадках, коровы.

Матвей под навесом возился с доильными аппаратами, потом навоз чистил, я ушел в колок, где было полно шиповника, стал ягоды собирать изредка на стан поглядывал. Там дойка началась, конечно, доярки горлышки бидонов чистой марлей обвязали - газетчик рядом. И на головы косынки белые надели. Даже дояр мой белесые свои волосы белой тряпицей украсил. Уже после дойки, за едой, разговорились мы с ним. Мечтал он служить на флоте, тогда и наколки для мужественности сделал, а в армию не взяли, признали болезнь сердечную. Родители на центральную переселились, в совхозный дом с водопроводом, а ему избу оставили. Он на центральную - не хочет. В дояры подался, другой работы тут нет.

Изба у него на задах потому, что яр наступает, сдвигается, вот он и перекатил избу от края подальше, за огород, всю перебрал по бревнышку. А если сортир в овраг свалится, то туда ему и дорога. Тонкий инженерный расчет: яму

чистить не придется. а тут ее в Зорянку на курсы осеминаторов отправили, она не вернулась, лишь письмо прислала об этом Ге, который ей глаза открыл.

- Он, сука, не только глаза ей открыл, а, видать, еще кое-что распечатал! - закончил повесть Матвей. - Но я не сопьюсь, так ты в своем очерке и напиши, пусть она знает.

Попрощались мы, он пошел под навес, стал там стояк поправлять, а когда машина, в кузове которой я помещился наравне с молочными бидонами, тронулась он выпрямился и крикнул:

- Эй, а вы правда не тот Ге?!

Я не успел ничего сказать, грузовик тряхнуло так, что я чуть не вылетел за борт, зубы клацнули и мы помчались в облаке пыли.

Вернулся я в Зорянку и удивился перемене пейзажа. Давно облетели последние цветы с яблонь и черемух, листва приобрела светловатый оттенок, по утрам особенно ощущалось дыхание осени.

Печь за лето облупилась еще больше, "турок" на печной стене казался уже рябым.

Вечерами надо было подтапливать немного. Я с удивлением обнаружил, что моя поленница как бы похудела и стала ниже ростом почти наполовину. Спросил Липиху, она сказала:

- Я, конечно, не знаю, но там, за огородом один мужик живет. Не мое это, конечно, дело, но он лечился.

- Я тоже лечился, так что же?

- Он где-то у вас в Томске лечился... Чувствовалось, что бабка что-то не договаривает.

Я придирчиво осмотрел поленницу бабки Липихи: может, она в свою поленницу мои дрова перетаскала, пока меня не было? Да нет, не похоже. Да и зачем ей это? Грядку вот мне выделила, огурцов собрал столько, что есть не успеваю, желтеют они на полу в сенях.

Квартирантки Липихи в Томск уехали, в университет поступать. Пусто как-то, тоскливо. Да еще дрова пропадают. Я заметил, что поленница продолжает уменьшаться. О, черт! Я-то такие деньги в дрова вбухал, в долг влез, думал, что дров на всю зиму хватит и - на тебе! Но не будешь же ночей не спать, дрова охранять?

Однажды вечером увидел в темноте мужчину в галифе, телогрейке и в калошах на босу ногу. Спокойно набрал он охапку дров из моей поленницы и потащил через наш пустеющий огород к дальнему дому за огородом. Где-то там в ограде был лаз, в котором этот мужик исчез. Подрагивая от возмущения, помчался я по огороду к этому лазу. Ну да, вот дыра. Ограда большая, дом добротный, поленница возле него, ну просто потрясающих размеров. Постучал я в дверь - не отзываются, еще постучал, отворили.

На кухне возле печи сидел на лавке тот самый мужик и смотрел на меня исподлобья. Женщина, судя по всему - жена его, сказала:

- Какие дрова? Шел бы ты, милый, отсюда по-доброму, по-здорову. Ненормальный мой муж, психический, его никакая милиция не берет, задавит он тебя.

Я глянул мужику в глаза: мрак, туман, самум, мираж.

- Топором может хряпнуть, - продолжала зловредная баба.

Я огляделся: в квартире чисто прибрано, порядок, все как у всех нормальных людей. Может, и психический. А она, видно, требует, чтобы он хлеб отработывал. Погоди, не на того напала. Стараюсь быть спокойным, я сказал:

- Его милиция не берет, ладно. Но вы то - вменяемы? Я в газете работаю, сделаю, что с вас взыщут, а его лечить отправят, изолируют, раз не может жить среди людей...

Самум утих, миражи, подрагивая, рассеивались.

- Какие ты дрова у него взял, Вася? Отдай ироду! Пусть подавится! Злобно мыча, пошел мужик за мной, выбрал из своей поленницы несколько самых гнилых и тощих полешек и сунул мне:

- Н-на!

- Нет, ты много у меня взял, и все, что взял, сам же в мою поленницу и унеси!

Очевидно я перекрутил пружину, ибо он заревел и швырнул поленья чуть ли не мне в спину, я едва увернуться успел.

Я шел домой и дикая мысль пришла мне в голову: ночью выбрать из их поленницы все дрова, да еще ихних несколько штук прихватить.

Но, конечно же, ничего такого я не сделал. Пришел домой, пошуровал кочергой в печи, включил приемник и лег на свою холодную кровать. И мысли были о том, что вот - заехал я, черт знает куда, что делать мне здесь абсолютно нечего, перспективы никакой нет, только на дрова и буду работать.

Осень нашептывала печаль, утром я неохотно поднимался, черпал кружкой из ведра воду, лил ее на ладонь, а затем плескал ее в лицо. Нет, не туда я попал.

Когда я положил на стол редактора заявление, он дернул щекой с белесым шрамом. Вскочил из-за стола, сказал:

- Айда!

Мы прошли с ним зачем-то в райком, потом в райисполком, в каких-то кабинетах, какие-то люди. Нудили о долге, соблазнили квартирой, которая, возможно, будет, когда построят какой-то дом. Может, не уговаривали бы, так я бы не уехал. Чем больше пристают, тем больше кажется: обман!

Сколько пирогов Липиха мне скормила - не в коня овес! И еще черт дернул меня в канун отъезда подарить ручное точило другой бабке, у которой брал молоко. Липиха взъярилась:

- У меня жил, точилу ей отдал!

- Возьмите, - говорю, - тумбочку, дарю!

- На хрен тумбочку! Точило - зачем отдал!

Кто мог подумать? Грош цена тому точилу. Может, это отзвук какой-то давней ссоры двух соседок. Ревности? Соревнования? Соперничества?..

4. ЗВОН СТАРИНЫ

Осатанелый и черный от пыли, вылез я из кузова на родненькой улице Тверской. Ни Витьки, ни матери не было дома - замок. И стоял я возле тумбочки и приемника, голодный; пить хотел - уйти нельзя, собственность закабалает! Три часа трясся в кузове и вот - ни сесть, ни лечь.

Я спрятал приемник под Витькино крыльцо, а тумбочку поставил в палисадник. Упрут - туда дорога!

Вот она водоразборная колонка возле церкви. Раньше в будке сидел человек, принимал талончики, нажимал там, в будке, рычаг и текла вам в ведро водица. Не было талонов, брал - деньгами, пятак - ведро. Теперь рычаг снаружи, а в будке никого нет.

У нас на окраине еще многое сохранилось от прежней жизни. Она втекла в меня с водопроводной водой. Вот здесь, на той полянке, мы заливали в бабки свинец, запускали по нитке "воздушного змея" - "письмо", "монаха". Только бы ветер!

А здесь, в Петропавловской церкви, девушка Агафья с иконописным лицом молилась, смотрела вверх и вдруг воздела руки к куполу церкви с криком: - Ты зовешь меня, Господи! Вижу тебя! Иду к тебе!

Шел тридцать седьмой год и у Агафьи только что забрали суженого. Прямо из-под венца, в этой церкви.

И пошли по Тверской слухи: Христос явился!

И явился человек из органов и долго и строго говорил со священником Александром. Чудес не бывает!

Одно чудо все же случилось. Агафья бесследно исчезла. Видят прихожане - не ходит Агафья в храм. Пошли к ней: изба открыта, вещи на месте. Вся семья исчезла! Трехэтажные бревенчатые дома, первый этаж - обязательно кирпичный. Потемневшие резные орнаменты все равно завораживают. Если беременная женщина смотрит на красивое, ребенка красивого родит.

Пощупаем старинный кирпич. На одних кирпичах выдавлены буквы "ТАР" - томские арестантские роты, а есть еще: "ИН" - Иннокентий Некрасов.

Крыши домов здесь с давних пор красили в зеленое, такими же были водосточные трубы. В окраске стен было много карминного и желтого. Когда подвели к Томску железную дорогу, в моду вошла прочная железнодорожная краска, красная и желто-коричневая. Ею красили дома, детали выделяли голубым и белым.

Евреи свои дома обшивали тесом и красили в синее.

Все дома имели черные решетки и флюгера. Эту металлическую оснастку всю ободрали, когда начались бурные компании по сбору металлолома. Тогда же выкопали из земли и сдали в лом, торчавшие возле ворот древние пушечные

стволы. Их томичи притаскивали к своим усадьбам с Воскресенской горы и вкапывали возле ворот в качестве коновязи.

Кое-где до сих пор стоят кирпичные брандмауэры с ложными окнами. Сохранились еще каретники на листовенничных столбах синевато-стального цвета. Усеченные пирамиды арок, а выше - второй этаж с витыми решетками без стекол, это чтобы воздух гулял и сушил сено, корни, грибы, травы, ягоды. А внизу стояли экипажи.

На кузницах делали земляные крыши, они порастали травой и кустами. Алтайская улица. На крыше кузни выросла целая береза. Это там мы с Витькой просили подергать рычаг мехов.

Пришел я в этот раз к Витьке, и он выставил бутылку наливки. Выпили. Детство спрыгивало с маятника старых ходиков и падало в наши души.

А помнишь? Я спросил Витьку, не встречал ли он тезку своего, Витьку Урасова? Жив ли он, знаменитый форточник-потихушник? Нет, Витька этого не знает. Появлялся У рас в Томске не раз, после отсидки, ходил по Тверской веселый, вальяжный, потом исчезал. И так однажды исчез навсегда.

А помнишь? У нас была обертка от дореволюционной конфеты, выпущенной в 1905 году: "Герой-казак Кузьма Крючков". Фантик, А некоторые томичи еще по старинке называли горку на улице Гоголя - Жандармский взвоз. И мы еще застали бродячих музыкантов, шарманщиков, стекольщиков, углежогов.

А помнишь? Вспоминались рассказы стариков о лошадях и пожарах. И перед нами в стаканах с наливкой неслись пожарники на быстроходных "линейках", сидя с двух сторон, сияя касками и пуговицами. Каски - с гребнем, у рядовых - медные, а у командиров никелированные или серебряные с черным гребнем. У начальников даже топорики были из серебра. Лошади - рыжие, колеса линеек подрессорены, слышен лишь стук копыт.

Выгорали целые районы. А ведь каждый дом - картина. На пожары ходили, как в цирк, пожарников любили. Десятиметровые багры. С верхнего этажа людей бросают в натянутый брезент. Пожары тушили и градоначальники, и профессора. И летели узлы подальше от горящего дома. Искры, дым, рев пламени. А вокруг, как воронье - жулики, под шумок - стащить что-нибудь из чужого скарба.

Но в пожаре времени, прошлое города сгорает навсегда. И нет таких пожарных, которые могли бы нам вернуть аромат прошлого. Память неверная, грустная наша гостья!

Любили еще борцов, силачей, фокусников. Китайца, делавшего сальто с полной корчагой воды за пазухой. Сами прыгали с косогора, учились делать кульбиты, сальто. Мечтали.

Рыбу везли зимой коробами. Пряник в форточке - якобы дед Мороз его ночью там подвесил. Конфеты на елочных ветках - на ниточках. А разноцветные бумажные цепи запретили в 1937 году - не наш символ. Смешно. Как раз в эти дни по ночам арестовывали многих наших знакомых соседей, и прочих Томичей.

В цепи, и правда, не заковывали, уводили, держа руку на кобуре нагана. Помнишь?

Гречишные блины на конопляном масле, помнишь?

Витька вдруг запел:

- Маленький кролик, Заскочил на столик, В дудочку играл, Христа прославлял...

Ну да! Мы еще ходили по домам славить! И это было увлекательно!

Уснули поздно. Витька открыл отдушину и на меня текла струя холода. Витькина мать не выключила радио и утром оно заорало, как заполошное. Витька проснулся и крикнул:

- Выключи! Я стрелки уже перевел!

Черт бы их взял! На что им эта точность? Ходики все проверяют! Нет, надо свой отдельный угол иметь!..

Милиции боятся, еще кого-то.

Я жизнь прожил, никто меня не тронул. Правда, были в молодости небольшие неприятности по поводу одного смелого письма в редакцию. Но обошлись со мной корректно, о стенку головой не били. Потолковали и все. И после - никто не приставал. Вообще-то, если на кобру не наступишь, она тебя и не укусит. У нее еще и предупредительная стойка есть, сперва попугает. Это все в далеком прошлом. Да, многое сам вспоминаю, многое старики рассказывали. Да еще, в те времена жестокие, на кухне ту нас говорили об этих вещах полупшепотом.

Женщина одна жила за Белым озером. Родня наша, седьмая вода на киселе. Материна подружка. Тогда в Страшном рву каждую ночь стреляли. Пальба до домика, где жила Эльвира с родителями, доносилась. А у Эльвиры - ребенок грудной. И вдруг - молока не стало. Пошла на консультацию в больницу, к Сибирцеву. Он ее осмотрел, ребенка осмотрел, спросил, - где живет. И велел переехать! Куда? За Ушайку, на Киевскую или на Тверскую куда-нибудь. Так и сказал. Рецепт. Сибирцев - авторитет. Сменяли домик. И молоко у Эльвиры появилось. Ведь с пальбой-то и крики ужасные доносились.

А еще видел я одного мужика в полувоенной форме, седой весь и заикается. Мальчишки на него показывали и шептались: "Палачом работал!" Город тогда наш был такой, что в нем почти все про всех знали. И как тот Федот поседел и ума лишился тоже было известно.

Там, в Страшном рву, изобретали способ, чтобы жертвы не кричали перед смертью. Клали двоих валетом на телегу и в рот вставляли тугой мяч. Федот шел с пистолетом, стрелял в висок. Одна беременная женщина ухитрилась мяч языком вытолкнуть и закричала так страшно, что Федот с ума сошел. Попробовали его в качестве охранника при тюрьме держать - бесполезно. Запрятали на психу. Долго он там лечился, а потом ходил по нашей Тверской и всем говорил:

Но вот был случай. В охотничьей избушке мертвяка нашли с недопитой бутылкой перцовки в руке. Конверт с адресом. Казбек Ишанов с тюряги сбег. В

Сибири решил от "вышки" закопаться. Осенью в избу забился, гору сучьев натаскал. Думал этим протопиться. Рюкзак -выпивки, жратвы. Простыл, заболел. Мороз приговорил к высшей мере...

Мне вспомнился музей в медицинских клиниках в Томске. Там - в матке женщины сидит маленький человечек, как в шалашике, на корточках, а ручки перед лицом сложил. Экскурсовод сказал: "Прикуривает". А я бы сказал - молится. Ему родиться надо! А если он - будущий Казбек?! Зачем высокие имена дают? Зачем Казбек других убивал?

А еще вспоминаю, как ходили отец с матерью в этот музей до войны, там у входа стоял скелет и каждому входящему протягивал руку, здоровался. Студенты при помощи блоков устроили.

Родичи возвращались домой, шептались, а я подслушивал. Всякие были в музее интересные экспонаты и среди них - член томского извозчика Ивана Семеновича. Вообще его звали иначе, но зачем тревожить его душу? Назовем - Иваном Семеновичем. Так член у него был длиной почти сорок сантиметров! Патологоанатомы решили поместить в музее это чудо природы... да, я потом брал линейку, изумлялся: тридцать сантиметров. Да, штука!..

Я пошел бродить по городу. Хоть есть нечего, зато жить весело! Правильная пословица. Счастье, ели ходишь по городу, где твои предке тоже прошли. Вот он Московский тракт! Тысячи и тысячи людей с этой стороны подъезжали к древнему Томску. Радищев среди них, декабристы, Ганнибал - Арап Петра Великого. Ссылные, кандалники, авантюристы, поэты.

Заисточье! Это здесь жили лошадики, шорники, дужники, кузнецы. Татарские две мечети высоко вздымали свои минареты. Возле постоянных дворов на шестах привязывали клочки сена.

Богатые дома щедро изукрашены резьбой. Жили здесь татары, бухарцы, русские, цыгане. Половодье затопляло эти места, но люди не хотели уходить от тракта, который их кормил. Приспособились, имели много больших лодок, вышек, на которые убиралось добро во время большой воды. Все были заядлыми рыбаками.

Вон обезображенное здание слева. Это была мечеть, а потом стали в ней селиться то гаражи то артели. В другой мечети разместился ликеро-водочный завод. Русских храмов, кстати говоря, тоже не щадили. В Богоявленской церкви, к примеру, сделали макаронную фабрику. Помню, отец шутил, дескать, в мечети делают выпивку, а в церкви закуску к ней.

Вон дворец миллионера Асташева. До сих пор каждую весну во дворике здесь зацветает маньчжурская сирень, богач любил пить чай под ее ветвями. Теперь в этом доме краеведческий музей и концертный зал. Как-то явились сюда ремонтники. Мужики с хохотом стали скидывать с чердака странные корчаги, не имевшие дна. А это были акустические колосники. Кто-то вразумил. Не все переломали. Сказанное со сцены шепотом слово слышно даже в последнем ряду.

Сколько всего было на каждом пяточке этой земли! Мелькнула гостиница "Сибирь", а на ее месте когда-то был дом художника Вучичевича-Сибирского,

который выставлял свои картины прямо в окошках! Потом этот дом снесли и построили другой, который не раз перестраивался и был электротeatром "Фурор", клубом "Нацмен", клубом и столовой "Строитель".

Мы свернули направо и выехали на площадь декабриста Батенькова. Когда-то здесь стоял Благовещенский собор. Отец не раз говаривал:

- Собор взорвали в тот день, когда ты на свет родился и именно в тот час! Если ты не заикаешься, то и это уже великое счастье!

Будучи лет десяти отроду, я попал под лошадь, как раз на том месте, где прежде собор стоял. И - ничего. Расшибла мне лошадь копытом кость ноги, но все заросло, как на собаке.

Говорят, архиепископ Макарий, выходя из этого собора после службы приказывал звонарям играть на колоколах "Камаринского". И играли! Вся Уржатка веселилась.

Вот тут, по Дворянской, говорили, катался на мотоцикле сын купца Макушина - Дмитрий. Деньги были, чего не попытаться обогнать время? Зимой он выезжал на аэросанях, вызывая на улицах переполох. Тогда технический прогресс многих манил, как магнит. Если бы могли они заглянуть в нынешний день, когда улицы Томска отравляют зловердной гарью сотни машин!

Вот главная наша аптека. Сюда мы ходили в детстве для того лишь, чтобы полюбоваться изумительным во всю огромную стену зала полированным аптечным шкафом. Рама шкафа поражает благородством линий, изяществом. Множество дверок, дверочек, а вверху, в центре, в отверстии - круглые мозеровские часы.

Лепные потолки кажутся южными небесами, потолочный фриз изображает виноград.

Тишина и чистота в аптеке изумительные, здесь все разговаривали в те года вполголоса. Это до революции было аптекарским магазином товарищества Штоль и Шмидт. Инициалы Штоля и Шмидта до сих пор можно разглядеть на этом здании. Рассказывали, что еще в двадцатые годы во флигельке при аптеке жила вдова Шмидта - Амалия. А краснодеревщик Карпов, который создал этот антикварный аптечный шкаф, был расстрелян в 1938 году. За что его-то? Непонятно.

Нередко ходил я и к Второвскому пассажи, здесь, в центре, не только магазины всегда сосредоточивались, но и увеселительные заведения. Вон там на полуострове, рассказывал мне отец, в годы его детства и молодости был цирк Вильямса, с 1913-го года он стал цирком Браиловского, а затем -Изако. Впоследствии цирк был разобран за ветхостью, и уже в другом месте, возле Деревянного моста стали строить новый, советский цирк. Был он кирпичный, с гостиницей для артистов, с многочисленными буфетами, с конюшней и помещениями для цирковой техники.

Многие номера отец видел еще до революции. Один циркач изображал пирата карибских морей. Он фехтовал, стрелял в подбрасываемые партнером тарелочки, с завязанными глазами гасил выстрелами из пистолета зажженные

свечи. Но вскоре номер переделали. Пират превратился в красного командира. Он появлялся на арене под звуки тревожной музыки, в шлеме с пятиконечной звездой, смотрел на метавшиеся по арене прожектора, а потом поражал мишени, изображавшие диверсантов.

Впрочем, цирк всегда интересен. В нем нет тоски, в нем кладут голову тигру в пасть, а потом еще и улыбаются. В нем ныряют с вышки в бассейн с пылающей водой. Вот вы попробуйте! А кто ныряет - командир или пират, разве так важно?! Человек ныряет. Смелый! Удивительный!

О! Я помню многие блуждания по Томску и летом, и зимой. Силуэты домов-теремов проглядывали сквозь снег и темноту. Уброднка тропинка и Пятихатка. Улица Никитина. Я остановился возле полуразрушенного казарменного типа здания. Оно было мне хорошо знакомо. Здесь когда-то на втором этаже размещался клуб артиллерийского училища.

В конце войны мы, подростки, приходили сюда, под эти окна, чтобы послушать духовую танцевальную музыку. Здесь играл знаменитый оркестр, которым руководил невысокий, бравый еврей. Он ходил всегда строевым шагом, туго перетянутый портупеей, с сумкой-планшетом на боку. Летом его оркестр играл на танцах в городском саду. И тогда мы могли наблюдать чудо: дирижер трубил в золотую трубу, а откуда-то из-под дальнего дерева ему отвечала другая. Где-то в кустах начинали вторить басы, потом просыпался невидимый барабан. Мелодия росла, ширилась, оркестрантов не было видно, только дирижер стоял на поляне и, раскачиваясь в такт музыке, трубил в свою трубу.

А зимой мы слушали музыку, вырывавшуюся из форточек этого здания. Немного повзрослев и осмелев, мы стали заходить в вестибюль, стояли на лестнице, самые смелые поднимались на верхнюю площадку. С течением времени мы уже добрались и до самого зала, где проходили танцы, но вскоре здание это было закрыто на ремонт. Отремонтировать его почему-то не удосужились, с годами оно разваливается все больше.

Но не век мне было ночевать у Витьки. Через некоторое время я нашел квартиру в доме, где жила бывшая жена Лени Гараненко. Леня сказал:

- Мало бы, что бывшая, я всех бывших тоже числю в родне.

На другой день мы с Витькой тащили мою дряхлую кровать с улицы Тверской на улицу Советскую.

Кровать моя поместилась на втором этаже старинного деревянного дома. Кроме меня в комнате жила бывшая жена Лени - Маша, ее мама, Анфиса Ивановна и сестра мамы, стало быть, Машина тетка, Зинаида Ивановна.

Маша занималась странным промыслом. Вечером ярко красила губы и шла в ресторан, приходила под утро, а иногда и через день, опухшая, а то и с подбитыми глазами, с небольшой суммой денег. Анфиса Ивановна обычно пыталась ее обыскать.

- Сама там жрала-пила, а мы тут голодные, давай, стерва, деньги! За квартиру не платишь, белье не стираешь, барыня, только жрешь, да пьешь.

Анфиса Ивановна работала дворничихой, но регулярно получала взыскания за неубранный снег и мусор, ее сестра была невменяемой, она смотрела на всех бессмысленными глазами и повторяла:

- Что ж поделаться?

Если шел снег или в квартире было холодно, или она была голодна, Зинаида Ивановна всегда говорила одно и то же:

- Что ж поделаться?

Я вскоре хорошо усвоил эту ее интонацию, если что-то в работе у меня не получалось или зарплату задерживали, я говорил так же, как она безнадежно-укоризненно:

- Что ж поделаться?

Неудобство моего проживания в этой квартире заключалось в том, что в ней всегда было много людей, преимущественно Машиных подруг, шуточки которых в мой адрес выводили меня из себя. Ибо они были так плоски, что более плоскую вещь трудно было бы сыскать во всей вселенной.

Они пили перцовку, а то и самогонку, губы их были жирно намазаны помадой, от них пахло махрой и потом. Одна сказала:

- Чо ты все читаешь? Давай к тебе в кровать лягу.

Чтобы сходить в туалет, надо было пройти через три двора в четвертую усадьбу. Иногда там туалет был заперт на замок и приходилось идти в общественный туалет в городском саду.

Нередко в нашем жилье возникали разборки Маши и ее подруг с ухажерами, и тогда кто-нибудь из верзил останавливал на мне свой мутный взгляд и спрашивал:

- А этот чей?

Маша говорила:

- Квартирант это наш.

Некоторые верили, а другие брали меня за грудки и предлагали:

- Пойдем выйдем! Анфиса Ивановна говорила:

- За квартиру? Чо я - эксплуататорша кака? Бутылку бери и лады. Но получалось так, что бутылку приходилось брать всякий раз, как

ей хотелось выпить, а выпить ей хотелось почти всегда. Подсчитав в уме количество бутылок и их общую стоимость, я понял, что твердая такса оплаты за квартиру гораздо меньше повлияла бы на мой бюджет.

Вот почему я стал ходить на улицу Никитина, где проживала моя тетья Кларисса Елисеевна. В молодости она была красавицей, возраст долго не оказывал никакого влияния на ее здоровье и внешность. Она пережила двух мужей и вырастила пятерых детей. Самый последний появился у нее, когда ей было далеко за сорок. Вот теперь она и проживала с ним в двух комнатах в деревянном, но добротном доме. В глубине души я надеялся, что найдется в этом доме местечко и для моей злополучной кровати. Поэтому я рассказывал Клариссе Елисеевне со своей возможной живописностью о своем бытие в

квартире томских куртизанок. Она сочувственно кивала головой, но почему-то не спешила пригласить меня на свою территорию.

Однажды я решил взять быка за рога и попросился на квартиру. Она с грустью сказала:

- В одной комнате с женщиной мне быть невозможно, я больна, а с Венькой вы не уживетесь. Не в обиду... сарай есть устроенный, окошечко там, запоры, койка, стол. Лучшего не найдешь, по теплу - заселяйся... Я рассказал ему о нашем селе, о том, что редактор там - не мед, бюрократизма хватает, но жить можно. Я же живу?

И вновь я бродил, и бродил по городу. Он не полезет ко мне с глупыми вопросами, он тихо и дружелюбно рассказывает мне о себе.

Вон виднеется мутная, загаженная речка Ушайка, а ведь в 1830 году здесь мыли золото. Первым начали это делать промышленники Поповы, и ринулись в Томск золотоискатели, авантюристы, шулера. Китайцы, немцы, шведы, американцы - гуляли по этим улицам.

У еврея Давида был поверенный Ван Ли, хорошо знавший приходы через Тибет в Кашмир. Давид скупал золото, а китаец отвозил его. Евграф Кухтерин ковал особым образом лошадей, охрана была - из русских.

В Кашмире золото сдавали англичанам и получали опечатанный пакет с фунтами стерлингов.

Евграф был наблюдателен, умен, однажды он снял слепок с печати на пакете. В одну из поездок Евграф вынул из мешка фунты, положил туда нарезанную бумагу, а пакет аккуратно опечатал изготовленной в Томске печатью. В Верном на таможне он сменял фунты на рубли.

После приключения с Кашмирской почтой, Евграф сперва жил тихо, а потом стал помаленьку прикупать лошадок. Занимался он извозом, разбогател. Когда умер, то сделали ему на Вознесенском кладбище изумительной красоты склеп, в котором был помещен гроб из розового, просвечивающего камня.

Когда в 1908 году архитектор Лыгин построил на Спичке, где была Кухтеринская фабрика, церковь, гроб с телом Евграфа перенесли в храм и подвесили под алтарем на серебряных цепях. Когда в город должны были войти красные, гроб этот погрузили на повозку и по Чуйскому тракту через Алтай увезли в Китай.

Так что глава семьи Кухтериных и после жизни много путешествовал.

О, Сибирь! Ты была прибежищем людей своенравных, ярых в труде, буйных в забавах. У здешних родов мало благополучных биографий. У Кухтериных тоже случалось много трагического в жизни.

Еще мальчишкой утонул один из сыновей Евграфа - Василий. Катался по неокрепшему льду Белого озера - миллионерскому сынку никто не указ. И ухнул в полынью!

1911 год был для Кухтериных несчастлив. В марте отпели Алексея, а в августе этого же года погиб Иннокентий Кухтерин. Объявился тогда в Томске герой войны с Японией Лопухин. Полный георгиевский кавалер - диковинка!

Иннокентий любил погулять. Мог скупить у крестьян сено, заставить их сметать огромный стог и сжечь, только бы газеты написали! Ну и с Лапузиным всюду ездил для рекламы.

Исполнился тогда Иннокентию сорок один год, был он мужик в самой силе. Знали его шансонетки и знатные дамы, а жена с детьми в Москву жить укатила, чтобы не быть посмешищем у томских сплетниц.

В этот несчастный августовский день Иннокентий гулял в ресторане "Россия" с Лапузиным и четой Нейландов - Петром и Ольгой. Аптекарь Петр Нейланд был уже стар и потому сквозь пальцы смотрел на не очень простые взаимоотношения его супруги и именитого купца. Иннокентий был к ней искренне привязан, не раз дарил дорогие ожерелья, кольцо и не раз она ему их возвращала. Он говорил: "Красота - к красоте!" А она отвечала: "Красота не продается!"

Хорошо выпила компания в "России", заехали к купцам Королевым, там еще добавили хмеля на буйные головы. Отвезли Нейландов, стали прощаться, в этот момент Лапузин сказал:

- Ну, Кешка, прощайся быстрее, поедem к твоим бочановским шлюхам! Особенно обидными показались эти слова Иннокентию потому что были сказаны при Ольге.

Нейланды вошли в дом, а Кухтерин схватил Лапузина и стал гнуть через оглоблю. Излюбленный прием сибирских ямщиков-удальцов: завернуть врагу ноги к голове, связать вожжами и бросить под копыта лошади!

Лапузин как-то исхитрился достать из кармана пистолет и выстрелить. Могуч был Иннокентий. Он отобрал у собутыльника пистолет, согнул его шашку колесом. Он вошел в дом Нейландов и сказал:

- Я полежу тут у вас немного на диване...

Нейланды сразу даже и не поняли, что он ранен. Только потом заметили расплывавшееся на бархате пятно крови.

Пригласили врача. Тот велел не двигаться. Иннокентий продиктовал завещание и помер.

Вот здесь, в этом доме это было. Вот это крыльцо, с кованным фигурным навесом.

От шансонетки был у Иннокентия сын - Алексей. Мать его постоянно напоминала ему - чей он отпрыск. Даже, когда власть переменилась и Кухтерины узнали и нищету, и унижения, а некоторые и через лагеря прошли, она все грезила кухтеринским наследством, которое Алексей должен был бы получить.

Работал Алексей одно время в Новосибирске в Гужавтотресте. Наезжал по делам в Томск. Раз пришел к тетке своей Феофании Евграфовне Кухтеринной и стал настойчиво требовать:

- Отдайте кухтеринское золото! Я - единственный и законный наследник!

Никак не мог поверить он, что большинство фамильных богатств были красивыми томскими домами, фабриками. Остальное - отняла новая власть. Сняла Евграфовна золотые сережки:

- Возьми и уходи!

А в 1936 году несостоявшийся наследник был арестован и погиб из-за причуды матери, которая записала его на фамилию незаконного отца.

Мы свернули на Заторную, я вспомнил шелушащуюся позолоту старых вывесок гармонных и балалаечных мастеров. С давних времен тут делали гармошки и ремонтировали их. Весной, когда по взгоркам подсыхала глина и ласково пригревало солнышко, в окрестных домишках вынимали вторые рамы, распечатывали окна и по всей Заторной несло пиликанье гармошек, трелей балалаек: мастера настраивали инструменты, пробовали их в деле

Знамениты тогда были семьи гармонных мастеров Марковых и Бронниковых. Теперь только одна вывеска сохранилась - просто прямоугольник проржавевшего железа в раме, а что было написано - не разобрать.

Однажды в пору вешнего паводка, когда Томь превратилась в бескрайнее море, я поехал за реку к родне.

Я вспомнил, как в прошлом, чтобы переехать бесплатно через Томь, надо был садиться, как говорили тогда «на гребни». И вот двое пассажиров нашей лодки размашисто гребли, пьяный кормчий направлял наш ковчег среди высывавшихся из воды маковок пахнущих клейкой свежестью талин, черемух, верб.

Солнышко пригревало, вода дышала истомой, мы плыли в лабиринтах полузатопленных лесов, среди торчавших из воды крыш, каких-то столбов, мимо проплывали бревна, ветки, дрова, проплыло даже корыто, совсем как из сказки о рыбаке и рыбке.

Кормчий рявкнул:

- Головы!

Мы все пригнулись, ибо краснолицый вождь наш направил лодку под арку полузатопленных ворот.

Это была затопленная деревня Старая Дугарка, народ которой привычно спасался на чердаках, на плотках и на возвышенных местах. С иных чердаков выглядывали не только люди, но и коровы, на плотках лаяли собаки. Картина была фантастическая.

Показался впереди высокий берег райцентра Дугарки. Там пассажиры ждали лодочников, чтобы плыть к тому берегу, от которого мы недавно отчаливали. В лодке можно было слышать байки о необычайно больших деньгах, которые успевают сшибить за дни наводнения эти треклятые лодочники. Шкуру с людей дерут. А куда денешься? Ехать-то надо.

Лодочниками были стародугарцы. Наводнение приносит им одновременно и убыток, и доход. В дни наводнения река несет всякую всячину: бревна, доски, строевой лес, бочки и лодки. Стародугарцы все это вытаскивают на какое-либо

сухое возвышенное место. Запасаются. Река - кормилица. Все стародугарцы считают осетров своей собственностью. Уполномоченный рыбнадзора обычно ловит горожан, а местных нетрогает.

Был одиноким чудак уполномоченный, посчитавший, что закон писан для всех. Отбирал у местных запрещенные снасти, писал акты. Кончил тем, что утонул при загадочных обстоятельствах. Я тогда сочинил удачный каламбур: "Уполномоченный упал - намоченный!"

Нового рыбнадзорщика начальство назначило из местных, справедливо полагая, что своего топить не станут. Так и вышло. Работает.

Я сошел на землю райцентра со сложным чувством. В Томске - в переулках-закоулках прячутся приключения и тайны, вешними ночами скользят таинственные тени, загадочно глядят из тьмы фонари.

Здесь - на возвышенном плато ряды одноэтажных домишек, заплоты досчатые, такие же тротуары. Никаких тебе узорных решеток, никакой старины.

Обратно в Томск из Дугарки я вернулся на автобусе, вода ушла, дороги высохли, через Томь стал ходить паром.

Автобусик вновь продолжал свой путь уже по городу. Подъем в гору, высокие тополя. Справа виднелся отвесный мыс Лагерного сада. Память города сохранила случай, связанный с этим мысом. Знаменитый акробат Блонди, француз, прибыл в город и, увидев наш страшный мыс Боец, взялся за крупную сумму перейти с этого мыса по канату над Томью.

Купцы сделали складчину. Блонди закрепил один конец каната за березу, стоявшую на самом краю мыса, а другой - за столб на противоположном берегу.

Возле реки собрался весь город. Маленькая фигурка с шестом в руках медленно продвигалась по канату, который снизу казался тонюсенькой ниточкой. По реке двигались две лодки с натянутой между ними сетью, подстраховывали канатоходца.

Городские предания! Вы проходите через сердце, вы много раз были слышаны во тьме сеновалов, в кухне у самовара, у костра в лесу, на улицах города. Кто не гордится местом, где он родился, где живет? Кто не хочет видеть его красивым, в обрамлении легенд и преданий? Даже городки, история которых насчитывает год-другой, заводят своих героев и злодеев, чтобы было кого любить и ненавидеть. Что же сказать об одном из старейших сибирских городов? Вон он - старинный тюремный замок, воспетый одним из здешних страдальцев - Владимиром Галактионовичем Короленко. Перечитайте рассказ-повесть "Чудная" еще раз, вслух прочтите "Река играет", вы поймете лучше самих себя, всех россиян.

Как к нам из прошлого приходят звуки и краски отшумевших событий? Как акробат, по какой ниточке над рекой забвения, переносит их, чуть покачивая своим спасительным шестом-балансиром?

Какие люди сживали в нашей пересылке! Половина России прошло! Писатели, священники, профессора. Сидела здесь некоторое время знаменитая Сонька Золотая ручка. Когда ее этапировали на Сахалин, она сказала в Томске

больной, а через короткое время уже почти вся тюрьма была у нее в руках: она навесила карточных долгов не только на арестантов, но и на конвоиров. Приторговывала водкой, табаком и всяким запретным зельем.

Сидел тут и авантюрист Дамби-Джамадан Лама. Позднее он объявил себя мессией, монголы его считали воплощением бога на земле, он строил город в пустыне, он исцелял дуновением, он мог при помощи медитации проходить сквозь стены.

На всякую медитацию есть сверхмедитация. Джамадану ссекли голову, возили на пике. Потом привезли в Санкт-Петербург, где ее заспиртовали и выставили в музее.

Да, голова Джамадана далеко и тело его - неизвестно где, но дух его разве не возвращается в этот город?! Он живет во мне, ибо я еще в детстве пережил и возвышение, и страшное падение этого человека, его неземную славу и земной конец. А кто мне рассказывал о нем - теперь уж и не важно, может, отец, может сто трехлетний наш сосед Аполлон Северьянович. Это город нашептал мне по ночам жужжанием и скрипом своих флюгеров, город, который выслушивает небо, как доктор, стетоскопами своих многочисленных и фигурных водосточных труб.

Город рассказал мне про ямщика тюремных конвоев Ивана Ивановича Макарова. Он возил конвоируемых на этапе Пермь-Тобольск-Томск.

Вот здесь, в этом тюремном замке, он сдавал подорожную, распрягал лошадок, обедал, отдыхал, а затем порожняком пускался в обратный путь. Где-то в Пермской деревушке Сила ждала его жена Маша и он по ночам в какой-то из комнат нашей пересылки переписывал посвященные ей стихи:

Ты грустишь, моя милая Маша,
 Что я еду в далекий путь,
 Нелегка моя будет дорога,
 Помолись обо мне не забудь...

Мало кто теперь помнит о нем, а ведь именно на его слова написал композитор Гурилев свой знаменитый романс: "Однозвучно гремит колокольчик".

Да, сурова была жизнь конвойных! И колокольчик был однозвучный. Позднее у томских ямщиков была мода иметь не один поддужный колокольчик, а минимум два - терция, кварта. Чтобы не било по нервам, душу веселило. Мчалась тройка, заливалась колокольцами на разные голоса. А при въезде в город колокольчики полагалось привязывать, чтоб язычки не тенькали, шуму не было. Полиция требовала.

В 1852-ом году погиб Макаров во время бурана в Барабинской степи. Друзья передали жене мешок со стоптанными сапогами и рукописями. Ямщики похоронили товарища возле тракта.

Говорят, знаменитая песня "В той степи глухой замерзал ямщик" сложена именно про Ивана Ивановича Макарова.

А вот и развалины другого монастыря. Сосед, лукавый старичок Северьянович, говаривал, что по праздникам колокола в женском монастыре звонили: "К нам, к нам, сиротам!" А колокола в мужском Алексеевском монастыре отвечали: "Будем, будем, не забудем!"

Успенский собор при женском монастыре начал строить на свои деньги купец Алексей Еренев, а заканчивал стройку после смерти отца Иван Еренев. При монастыре было кладбище, где хоронили знатных людей. Богачи нередко готовили себе усыпальницы еще при жизни. Семейные склепы были чудно изукрашены, отделаны дорогим камнем. За стенами монастыря богатым гробницам было спокойно.

Последняя игуменья Анастасия появлялась то в соборе, то в трапезной, то в мастерских неожиданно, как бы - ниоткуда. Смятение было в сердцах послушниц-белиц и монахинь, вроде и в окошко во двор смотрели, никого не видели и вдруг - на пороге игуменья со своим посохом.

А был под монастырем лабиринт. Четыре подземных хода расходилось от алтаря крестообразно. Вход в них перекрывал поворотный камень. Лишь игуменья знала секрет кнопки, отключавшей поворотный механизм. Если не отключить, при повороте камень нажмет рычаг, который двигает металлического рыцаря в латах, с тяжелым мечом. На голову непрошенного гостя опускался меч!

Бывавший в "европах" Иван Еренев решил обезопасить добро монастыря и усыпальниц. Договорился с игуменьею, нанял инженеров, соорудивших и механизированную охрану, и тайные ниши в стенах ходов, куда можно было при случае спрятать и монастырское золото, и ценности из усыпальниц.

В первые годы советской власти в бывшем монастыре разместили артиллерийскую часть. Воины ничего не стали ломать, высокие стены их - вполне устраивали, склепы они превратили в склады, в которых снаряды лежали прямо на могильных плитах.

Потом городским властям потребовалось провести здесь дорогу, стали сносить могилы, зачем-то сломали и стены монастыря, ибо артиллеристы уже перебазировались в другое место.

Однажды рабочие, рывшие траншею под фундамент, нашли под грудой кирпичей и земли поржавевших "рыцарей" и несколько скелетов. "Рыцари" во тьме подземного хода исправно делали свою работу: увернулся гробокопатель от одного меча, попал под удар другого. Это был как бы привет от купца Ивана Еренева.

Здесьние монашки были золотошвейками. Они шили мундиры для сановников царского двора. Новенькие швейные машины "Зингер" были переданы в так называемый институт социального перевоспитания "Инспер". Томичи называли его "Испром", так было понятнее. Чем занималось учреждение? Перевоспитывало, исправляло малолетних уголовников. О, я хорошо помню ужас обывателей нашей слободки, когда бритоголовые пацаны и девчонки, в возрасте от семи до шестнадцати лет, оравой, с воем и воплями, вдруг появлялись на нашей Тверской! Они размахивали цепями, железными

прутьями и гирьками на резинках. Люди спешили запереться в своих избушках и домах. А "испровцы" бросались к сараям, стайкам, погребам, тащили все что могли. Иной житель пытался защитить свое добро с вилами или ружьем в руках. Случались потери с обеих сторон.

И вот швеймашины были отданы этим ребятам, они ловили в округе собак и кошек, обдирали, выделывали шкуры и шили шапки, и шубы для полярников.

"Шкуродерство" вряд ли помогало воспитанию обездоленных детей. Это вскоре поняли и воспитатели.

А женский монастырь был переведен за город на монастырскую заимку, подальше, чтобы не влиять негативно на горожан. Усадьба та находилась в нынешнем поселке "Ключи".

Много историй вытянуло на кухне во вьюшку вместе с махорочным дымом. Между колченогим столом и печкой, между третьей и четвертой стопкой. То - громко, а то запретно, шепотком.

Угол Кооперативного и Карла Маркса. Посмотрите на бывший особняк купца Смирнова. Строили его итальянцы, подмешивали в раствор тальк, и странного цвета стены на солнце поблескивают, как схваченные инеем. Много в этом здании было-перебыло. И однажды перепоясанные пулеметными лентами моряки ночевали здесь;

По-соседству, в бывшем духовном училище, жили тогда беженки из центральной части России - монашки. Вечером подгулявшие моряки по-

168шли туда дабы провести антирелигиозную акцию. Может, посмеяться над набожными женщинами решили. Игуменья встала в дверях с крестом, говорила слова увещевания. Вожак был нервным, заколол ее кортиком. Он и во хмель был ловок, поймал юную монашку, свалил-таки. Пароксизм страсти. И тут старик из прошлого, религиозный фанатик, рубанул его топором в затылок.

Лицо убитого было искажено страшной гримасой, пришлось вызвать профессора, чтобы придал лицу военмора выражение приличное для похорон. Говорили, что все же на покойного смотреть было страшно.

Его похоронили там, где лежали другие люди, погибшие за идею. Там, куда потом приходили возлагать венки и говорить речи.

Многие томичи об этом помнили, но вслух говорить было нельзя. Хотя в этой смерти не больше странного и страшного, чем в других. Представьте посад, село ли, где вырос молодой человек среди мерзости унижений, грязи и грубости. Флотская муштра, освобождение от нее, лихое сознание причастности к особой касте сильных, рискованных. И не такие головы кружит власть!

Жизнь людей, даже самых благополучных, всегда жестока и трагична. Не простится только осознанная подлость. Больных же надо лечить.

Монашкам в загородном монастыре больше повезло. Синий лог, белая гора за ним, с белой глиной и многочисленными ключами. Они текли в речку Бардынку. Монахини соорудили тут пруд, дамбу-отстойник, обсадили все тополями и поставили под ними скамьи для отдыха. На пруд прилетали утки.

Центральный ключ был украшен гипсовой личной льва, а вода струилась из пасти. На целебной ключевой воде был мятный квас в монастыре.

Здесь небольшой заводик варил вкуснейшее пиво. Речка Бардянка получила название то ли от фамилии заводчицы - Бардо, то ли от того, что в речку лили барду.

Сохранились дома с елочками на ставнях, с мезонинами. Монастырь продержался до сороковых. В Ключах и после жили монашки, хотя таковыми уже не считались.

Когда в поселке в тридцатые годы оборудовали дом отдыха, то на массивном постаменте установили изображение Сталина в фуражке и длинной шинели. Он стоял там долго и, в общем, отдыхать никому не мешал. Но началась борьба с культом личности. У нас всегда с чем-нибудь борются. Бригадир выписал трактористу наряд. Тот ночью зацепил изваяние тросом, уронил, опутал еще тросами, уволок в долину Басандайки и спихнул гипсового вождя с обрыва в снег.

На опустевший постамент скорехонько установили гипсовое изображение Ленина. Но гипс был некачественный, пошли дожди и новый монумент распался на куски. Чтобы постамент не пустовал и во избежание дальнейших безобразий, установили на постаменте гипсовый шар, изображавший не то землю, не то еще что-то. Шар простоял дольше Ленина, но и он развалился!

Больше на постамент ничего не водружали. Остатки его можно отыскать и сегодня, в зарослях можно разглядеть и обломки гипсовых физкультурников обоюго пола.

Как далеко улетел я мыслями! Аж в поселок Ключи! Автобусик меж тем временем свернул на Ленинскую. О, здесь тоже было что вспомнить на тему борьбы с памятниками! В университетской роще тогда, в 1953-ем, тоже ночью, опутали тросом ни в чем неповинную скульптуру отца народов, дернули трактором и уволокли в лог, находившийся на границе с ботаническим садом. Через несколько дней подгулявшие студюзы вытащили огромную и усатую голову в военной фуражке и установили на табурете в центральной аллее. Ректора чуть не хватил инфаркт. Было приказано раздробить голову в кузне, превратить ее в прах.

А вот, недалеко от университета, лестница круто поднимается на холм, а там в центре газона стоит Сергей Миронович Киров, приветственно протягивая вперед свою гипсовую руку. Он в гимнастерке военного образца, в таких же брюках и сапогах. Весь белый, к каждому празднику его еще подбеливают, чтобы стал уж совсем белоснежный, как лебедь. И каждый раз к первому мая и к седьмому ноября кто-то невидимый мажет сапоги вождя черной ваксой, "чистит" их. Можно, конечно, догадаться, что делают это студенты. Отец говорил, что это продолжается уже много лет, с тех пор, как установили памятник. И агенты никак не могут выследить "чистильщиков". Вот уж и отца нет, а "чистка" эта все продолжается. Иногда шутники оставляют у ног гипсового Кирова бархотку, щетку и баночку крема.

Бедный Киров! Он-то жил тут по чердакам, занимал у товарища брюки, чтобы сходить в институт на экзамен. Он ходил в колонне, по которой стреляли казаки. И не был убит. Убили его потом, возможно, что свои же соратники-политики. Он ничего не сделал нашему городу плохого, служил чертежником в управе, ну и что же? С кем не бывает? Впрочем, и шутников можно понять. Они молоды. Им хочется шутить, веселиться.

Автобусик миновал главпочтамт, спустился к базарному мосту. Вот и гостиный двор. Выйти из автобусика удалось не сразу. В нем только малюсенькая дверь впереди, которую, если захочет, отопрет движением рычага водитель. Это позволяет проверить наличие билетов у всех пассажиров. Длинноухим не на что надеяться.

Лавируя между сидениями, рычагом двери и другими пассажирами, я поспешил выбраться на свежий воздух. Это атмосфера родного города.

Вот этот квадрат - торговые ряды. Дощатый настил под крышей, ряды дверей в магазинчики и магазишки. Здесь вы укроетесь от дождя и снега, вы можете пройти в любом направлении по этому квадрату чудес и вернуться в отправную точку. Вас поддразнивают надписи, от скучнейшей: "Канцтовары", до веселой и многообещающей: "Кавказские вина".

Тысячи подошв прошли скрипя по этому дощатому настилу и отшлифовали его. Я проходил по нему в детстве, отрочестве, юности. Впрочем, доски, вероятно, теперь другие.

Можно было пойти вправо, я пошел влево. Ноги сами понесли к знаменитой базарной столовой, оттуда сквозь плохо закопченные окна вырывалась музыка. Здесь торговали "женатым" пивом, к которому обязательно надо брать закуску. Даже к единственной кружке пива вы должны были купить "пэчень жаренную". Она была, как резина. Какая разница? Я пил пиво и вспоминал.

Когда я выйду из этой столовой, отрывивая запах пива и "пэчени", и пойду дальше вдоль дверей магазишек, я увижу вывеску: "Уцененные товары" и непременно зайду в это странное царство подешевевших вещей. Среди других желающих почти задаром обрести счастье, я буду пытаться разглядеть сквозь помутневшее от многочисленных царапин и пыли стекло витрины что-то такое очень и очень дешевое, но в то же время имеющее большую, большую ценность. Я это куплю, потешаясь в душе над дураками-товароведами, я принесу это домой, я...

Брошка. Камешки из стекла. Выколупать, вделать в гитару. Треснувшее мраморное пресс-папье без ручки. Устаревшего образца армейские пуговицы...

Нет, пойду дальше. Вот и молочные магазины, вот и мясной ряд, и рыбный. В детстве я рвался в колбасный. Колбасы, от той, что мне не обхватить руками, до тонюсеньких сухих колбасок, называвшихся почему-то охотничьими. Отец предлагал выбрать два-три сорта. Продавец одобрительно кивал мне и огромным сверкающим ножом, обрезал веревочки, отхватывая их вместе с колбасными попками, падавшими в ящик под прилавок. Я шептал отцу:

- Колбасных попок хочу!

- Много ты понимаешь в колбасных обрезках! - говорил отец. На улице он мне рассказывал, что колбасную обрезь покупают нищие. Да, в обрезках и попки от дорогих сортов колбасы попадают, но зачем же -нам-то? Мы целое кольцо купить в состоянии! А мне казалось, что ничего вкуснее колбасных попок нет. Я завидовал нищим. А нынче я бы и этих "попок" поел, да время такое - не продают.

В рыбном отделе в прежние времена в прилавки были вделаны бассейны, в них можно было видеть живых осетров и стерлядок. Рыбу взвешивали, а она соскакивала с чашки весов, предчувствуя плохую судьбу.

Симметричные арки шли рядами, поддерживая кровлю этого крытого базара. До войны я помню их гладко оштукатуренными и тщательно побеленными, в жару здесь была тень, в сырую погоду здесь было сухо, здесь назначали свидания и не только деловые, но и любовные. Даже если не было денег, можно было полдня обходить эти магазинчики, выходя из одной двери и тут же заходя в другую. Магазинчиков было больше сорока. С массивными дверями-ставнями на которые по вечерам навешивались огромные пудовые замки. Дужку такого замка не сломишь фомкой и ножовкой за час не распилишь.

Под навесами гостиного двора почти всегда присутствовала импровизированная картинная галерея. Оранжевый замок, темно-синий лес, голубая луница. На изумрудной траве помещалась пышнотелая с гипертрофированными грудями и бедрами розовая красавица. Обнаженная натура могла обеспечить автора небом в клеточку, поэтому многие мастера драпировали свою диву в кисею, это лишь увеличивало привлекательность: запретный плод сладок! Иногда вместо розовой красавицы на картине обретались белиловые лебеди, поглядывая на зрителя с вольтеровской иронией.

Отец рассказывал, что видел здесь подобные картины еще до революции. А сам я встречал в томских домах на стенах возле кроватей, покрытые сетками морщин-трещин, потемневшие ковры. О, стыдливая порнография прошлого! Ты была целомудренна, как первоклашка! Теперь-то мы заканчиваем вуз.

Коврами-картинами торговали и в годы войны, только были они более блеклыми, сиротливо-приблизительными. Здесь же, под навесом, сидел морячок безрукий, безногий, на специальной подставке. Из инвалидов, торговавших трофеями, только его и пускали под навес, остальные толкались под открытым небом.

Морячок балагурил, матерился, пил водку. Невеста ли, жена ли, юная, почти девочка, жалобно просила:

- Вася! Хватит!

Он хлестнул ее культяшкой:

- Флот гуляет! Подставляй бутылку, пои! А то хуже будет!

А люди все шли под навесом, мелькали в пролетах арок живой картиной.

Сколько повидал гостиный двор! Его построили на месте первоначального, деревянного. Был он сперва одноэтажным. Но Томь была рядом и каждую весну широко разливалась. И тогда купцы пристроили второй этаж. Магазины образуют квадрат, внутри которого - обширный двор. Раньше подгулявшие купцы закидывали в этот двор двухпудовки, перебрасывая их через крышу гостиного!

Внутри двора по наружным лестницам поднимались грузчики к Складам. На уровне второго этажа были устроены деревянные галереи, чтобы проходить от склада к складу.

Шлепок по спине. Кто? Юрка Дуб! Ну - влип! Юрка снял шапку, показывая ежик:

- Ослобонился токо... Писатель! - возвысил он голос, - видишь того? - Указал он на небритого мужика, с расстегнутым воротом и наколкой на волосатой груди, - три высших образования! Сюжет! Роман! Возьми нам по кружке, он тебе столько расскажет! Ведь три высших!

- Ну уж так и три! - сказал я недоверчиво. И зря, ибо Юрка воодушевился еще больше:

- Академию кончил, в министерстве отделом руководил. Да ты послушай его, ты сразу литр выставишь, материал какой! - Юркины глаза блестели выцветшей синькой и похмельной слезой. Я дал ему рубль и выдернул локоть.

- Послушай! - крикнул он мне вслед.

Я повернул за угол и прибавил ходу. Прошагал под навесами и свернул на улицу Карла Маркса. Эх, Юрка! Мать надеялась - вырастет сын. Вырос. Умерла Агафья Васильевна, сердце с ним надсадила.

Я шел по старинной улице, тут были склады с мощными железными дверями, каменные приземистые дома с металлическими ставнями. Район пристани. Когда-то гуляли здесь грузчики в широченных шароварах, в которые, говорили, могли спрятать они пуд муки или крупы.

Войкова, улица прибрежная, дома одной своей стороной смотрят на реку. Кирпич домов уже крошится от времени, полуподвалы совсем вросли в землю, окна - в земле где-то.

- Слушай-ка! - прозвучало из одного полуподвала. Голос был знаком. Сколько здесь не был, а знакомые встречаются на каждом шагу.

Жизнь у Гарненкиной бывшей жены была трудна. Раз пришел Леня Гараненко. Маша сидела на койке, заплетая длинную косу. Если бы не испитость лица, Маша бы вполне могла бы называться русской красавицей. Леня тоже был по-своему красив, годы тюрьмы оставили не только наколки на руках, но сделали синь глаз какой-то трепетно-нагловатой, странное такое чувство, что все вокруг Лени - понарошечное, лишь он - настоящий. Да, он знал что-то, чего я не знал. Факт.

Леня пришел к своей бывшей жене, он держал в руке бутылку, отхлебнул из нее сам, дал отхлебнуть Анфисе Ивановне:

- Тещеньке дорогой!

- Твою мать! У тебя ж теперь баба другая и теща другая! - выругалась дворничиха, но из бутылки все же хорошо отхлебнула. Леня вытянул у нее горлышко бутылки из губ, как коровница соску у теленка:

- А я, может, к вам вернусь, мама! - сказал он, передавая бутылку Маше. Та присосалась хорошо. Леня и у нее вовремя выдернул бутылку. Допил все. Потом стал целовать слюнявый Машин рот, сам он тоже исходил слюной.

Уже упали на пол какие-то детали Машиной одежды. Интим. Казалось, все произойдет прямо при мне и Анфисе Ивановне. Но дойдя до определенной черты, Леня с саркастической ухмылкой сказал:

- Чего растелешилась? Вот бабы! Забавный народ! Маша ответила замысловатой матерщиной.

Леша был умен и не только практически умом зоны, он был и начитан, и нахвтан. Когда я приехал в свой город из Зорянки, он опять помог мне с жильем, порекомендовав меня Анфисе Ивановне, не его вина, что я здесь не прижился. Теперь Леня был искренне рад за меня, что я выбился, как он считал, в начальники. А о своем участии в моей судьбе скромно умалчивал.

Леня накрыл полуголую Машу одеялом, оглянулся на меня:

- Дом тут такой особенный! Знаешь, что тут раньше было?

- А что?

- О! - поднял палец Леня, - история! У меня же дед тут неподалеку жил. А вот соседний каменный особняк видишь? Особняк Лидии и Исаака Быховских. Архитектор Фишель строил его для себя, тоже еврей был.

Талант, между прочим. Вот за два года до смерти Товий Фишель слинял в Одессу. Хорошего климата захотел. В Сибири-то, поди, подольше бы проскрипел, царствие ему небесное! Вот тогда Быховские тут поселились. Широко жили. Мой дед у них кучером служил. Исаак Быховский был председателем еврейского литературного общества... Да... ругают евреев - чесноком воняют! Ага! А мы в зоне за головку чеснока, знаешь, что давали?! Тот-то! А евреи - выходцы с юга, их тут чахотка косила, поневоле чеснок жрать станешь. Ну вот. Исаак литературу любил, Лидия живописью увлекалась, а единственный их наследник - Левочка Быховский - кто был?

Гермес и Афродита! Машке не понять, а ты догадался. Как раз в этом доме было злачное местечко. Просто доходный дом, но втихаря в картишки играли, девочек водили сюда.

Раз Левочка деду моему говорит:

- Иду по соседству в карты играть, при мне будь на случай драки. Вышли отсюда поздней ночью в подпитии, Левочка у деда на руке

повис:

- Ах, поцелуй!

Дед брезглив был, дал Левочке плюху. Тот весь выигрыш отдал: сохрани тайну. Так ведь если гермафродит простой человек, кроме соседей, никто не узнает, а тут - сын миллионера! То женское белье носит, замуж выходит, уж не Левочка он, а Алевтина. А то обратно Левочкой становится и на художнице

женится. Опять - брызги шампанского. А то жил со служанкой из здешнего дома. А деду моему говорил: "Я тебя уважаю, как честного человека!" Мы, Гараненки, простые, но нас голой рукой не бери! Сперва... сам знаешь! Не смею при дамах.

Дед мой был простой человек, он, когда Левочка к нему лез, думал, что наткнулся на гомосека. Посидел бы в зоне, научился бы разбираться.

Куда потом Быховские девались? Шут их знает. Вот! Стучит кто-то, может, как раз Левочка и пришел? - пошутил Леня. - Наш город такой. Чего в нем только нет. Золотая лихорадка была? Вот. Ювелиры сюда перли. Университет? Опять же - дорогая профессия медика. Что дороже на свете, чем золото и здоровье? Знали люди, куда ехали, знали, чему учились. А мы? Ни заработать, ни украсть!

В своих блужданиях по Томску иногда я заходил в подвальчик, который помню еще с довоенных дней. Тогда тут висел плакат: "Помните! Кружка пива содержит столько же калорий, сколько двести граммов хлеба!" И - помнили!

Здесь сами стены пропитались винными парами. Все кирпичные поры были насквозь пронизаны чем-то терпким, кислым. Буфетчица разливала по стаканам вермут, именуемый в народе рассыпухой. Видно было, что она испытывает к своим клиентам отнюдь не самые нежные чувства. Пожалуй, ей казалось, что все мужчины рождаются лишь для того чтобы, торчать тут у стойки, совать ей мятые рублевки и заливать в себя рассыпуху, отирая мокрые губы грязными руками.

Она со стуком поставила передо мной на стойку стакан со ста пятидесятыми граммами вермута, так, что вино чуть не выплеснулось через край, и сказала:

- Нате!

В этом "Нате!" явственно слышалось: "Подавитесь!" Я купил еще какую-то заливную рыбу. По вкусу это было примерно, как дерево со столярным клеем. Не следовало бы пить перед визитом в обком. Ну да еще выветрится все, два часа впереди.

Рассыпуха у меня внутри переболталась, растеклась по жилам, чувство омерзения постепенно перешло в ощущение тепла и даже некоторой приподнятости над миром".

Второй стакан у меня прошел гораздо легче. Мне вспомнилось, что до революции тут был так называемый кавказский погребок, что здесь пили в прошлом большие томские журналисты. Наверняка здесь сиживал и князь Всеволод Александрович Долгоруков. Его сослали в Томск по делу "Червонных валетов". Была в северной столице такая шайка. Поддельывали векселя.

В Томске Долгоруков сотрудничал в газетах, журналах. Жил в доме на горе, где когда-то квартировал и комендант города Девильнев. Князь служил в суде, занимался издательской деятельностью. Именно он помог молодому томичу с тривиальной фамилией издать книгу "Томские труппы". Князь правил, редактировал рукопись. Он посоветовал Курицыну издать труд под красивым и ироничным псевдонимом - Некрестовский. Сам Долгоруков

некоторое время писал под псевдонимом - Северянин, а потом подарил свой псевдоним столичному поэту.

После смерти и Курицын, и Долгоруков лежали на Вознесенском кладбище. В годы Отечественной войны началось разрушение этого погоста. И поди угадай теперь, где под каким из цехов "Сибкабеля", лежат эти писатели, стремившиеся для потомков запечатлеть живые черты нашего города? Такова благодарность потомков!

Рядом со мной за столик встал знакомый мне журналист.

- Ты читал "Трущобы"? - спросил меня Брежиков.

Я кивнул.

- Да, псевдонимчики раньше были! - сказал Боря, - опоражнивая очередной вермутный стакан. - В газете "Сибирская жизнь" Семен Варфоломеевич Черепанов подписывался, как мистер Гобс. Это - да! Можно было и мистером Боксом себя назвать, и бить обывателя фельетоном. А сейчас можно только имя превратить в фамилию. Никакой фантазии! Скучно, девушки!

- Не говори, кума, про пряжу! - ответил я в тон Борису. - А графика какая была в газетах и журналах? В восьмидесятые годы прошлого столетия в издательстве Макушина стал работать Михаил Викторович Рундальцев и продукция этого издательства вскоре стала получать медали на выставках. Я хотел еще сказать о том, что Рундальцев после в Петербурге сделал гравированные портреты Николая Второго, его семьи и придворных. Затем - Париж, Америка. Работа над портретами Рокфеллера и Моргана. Но эти сведения, почерпнутые в тишине библиотеки, я предпочел хранить в кладовке хотя и не прочной теоретически, но практически недосыгаемой. Она всегда при мне, если ее взломают, то все, что в ней есть, исчезнет.

Я постучал себя по лбу. Боря понял этот жест по-своему и сказал:

- Добавляй еще пятерку, еще возьмем!

Я помотал головой, приложил руку к сердцу, провел ребром ладони по горлу, развел руками.

- На хрен мне твоя пантомима! - обиженно сказал Боря.

- На нет и суда нет! - сказал я, открывая дверь подземелья.

Краснокирпичное здание ресторана "Север" напомнило о многом. В конце войны здесь работала мама, я тут часто сиживал в ожидании какой-нибудь кашки, оставшейся от пиршественного офицерского стола. Котлеты они съедали, а гарнир у них оставался, в этом и было мое маленькое тогдашнее счастье. Впрочем счастье не бывает маленьким, оно или есть, или его нет.

До революции это был дом купца Диомида Шадрина. Здесь тогда был вовсе не ресторан, а располагались две мастерских ювелиров-часовщиков. Одна из них принадлежала Якову Хаимовичу Юровскому, который в 1911 году перебрался в Екатеринбург, где позднее командовал расстрелом царя. Такая вот линия протянулась от часиков и колечек до пистолета на боку.

Где ты Диомид Шадрин? Где витает твоя душа? Мог ли ты хотя бы представить, какие люди будут обитать в твоём доме? Я тоже в нём был, не раз. И будут потом другие. А что будет потом - никому неизвестно.

5. ЕЩЕ ОДИН ЗАГЗАГ

Я прошелся по Ленина и свернул в переулок, где находилось здание обкома.

Дом этот выстроил архитектор Лыгин в стиле "Наполеон третий", это - когда смешивают классицизм и барокко. Красный кирпич и желтый песчаник. Нарядно! При купчихе здесь были клуб и библиотека железнодорожников, типография и редакция газеты "Сибирское утро", которыми руководил сын хозяйки дома Константин Алексеевич Орлов.

В 1913 году редактор "Утра" умер и был похоронен в семейной усыпальнице на Вознесенском кладбище, а неутешная мать отбыла для лечения на курорт в Германию. И - неудачно. Война помешала ей вернуться на родину и в 1915 году она скончалась на чужбине. Родственники надеялись со временем перевезти тело ее в родовой склеп. Ждали окончания войны. Но тут грянула революция и стало богачам не до перевозки мертвых тел, свои бы, живые, было сберечь как-то!

Когда в этот дом заселился обком, то сломали каретники во дворе и шпили, венчавшие крышу дворца, серьезному учреждению экзотика ни к чему. Говорят, недавно побывала в Томске внучка купчихи Орловой. Посетила свое родовое гнездо. Принял ее сам первый секретарь. И она лестно отозвалась о поддержании порядка в этом особняке.

Я позвонил из бюро пропусков и начальник оказался на месте. Через минуту я уже поднимался по широкой лестнице, застеленной ковровой дорожкой. А мысль была одна, выдохлась из меня вермут или же нет? Черт меня дернул ее пить! А все - неопределенность! Недаром говорят, что хуже нет занятия, чем ждать и догонять. А я догоняю упущенное, пытаюсь осязать неосязаемое, ловить неуловимое.

Я постучал. В уме вертелось: "Тук-тук! Кто в тереме живет?"

Заведующий сектора по-печати как бы перешел в другую весовую категорию. И подбородок стал квадратнее.

Две редакции. Одна в Томске, другая в ином городе. В каждой - нужен редактор, в другом городе в перспективе - квартира.

Лишь на улице я понял, что натворил. Ай, ай! Потянуло в Клондайк! Тоже мне, Джек Лондон! Надо было просить должность в Томске, пусть без квартиры

Час от часу не легче! Как это случилось? Пойти на попятный? Неудобно уже. Привет, Кавказский погреб, разжалованный в тошниловку! Дай мне стакан верной мути!

Верная муť переполнила желудок и болталась там, как символ всякого неудобства и непотребства. На воздух!

Напротив "Севера", на другом углу, до революции был ресторан "Дядя Костя". Отец рассказывал, как они навещали это заведение с братом Константином: "Мы ходили с Костей в "Костю", там сломали Косте кости!"

Все! Теперь эти воспоминания, все были, байки, все пленительные предания, дошедшие до меня через родичей и соседей, поблекнут, потускнеют, вытесненные новыми впечатлениями. Не успел я их запечатлеть каракулями, иероглифами, полубезграмотными закорючками в каких-нибудь тетрадках в полоску или в клеточку. Я растранижил переданное мне богатство, я ограбил предков, я проигравшийся картежник, несостоятельный должник!

Вскоре я уже был в городе Тасино. Деревообрабатывающий комбинат. Катили по внутривозовским дорогам, как марсианские аппараты, лесопогрузчики, водитель, сидя, словно на вершине горы, колес не видит и может вас задавить.

Территория лишь со стороны конторы была обнесена забором, три другие стороны - свободны, бери, тащи, вези! Что хочешь, сколько хочешь! А уж отходами завалились по маковку. Давали объявления в газетах, мол, берите даром! Никто не берет.

Клуб примыкал к забору комбината и был выстроен тоже в виде ангара. Командовал там Петрович, художник. Понятно что в фойе всегда была выставка, самодеятельного мазилы либо профессионала.

Банкетный зал клуба был отделан берестяными панно. В вихре танца неслись по стенам красавицы в сарафанах, бородатые деды в длинных рубахах гоняли чай возле пузатого самовара. Попадая в банкетный зал я обычно вздыхал по сказочной и былинной Руси. В старину жизнь шла неспешно и чинно. Хотя я понимал при этом, что образ этот создан поэтами более позднего времени. А спокойствие нашим предкам только могло сниться. Тогда потерять здоровье, жизнь и все достояние было еще проще, чем теперь.

Петрович сказал при знакомстве:

- Помещение редакции нужно? Поактивнее в самодеятельности будьте. Гарин концерты любит. Понравится - все даст.

Я придумал частушки комбинатовские. Ширма. Вставь лицо в отверстие, руки сунь в сапоги, а позади тебя другой участник номера просовывает руки тебе подмышки и в отверстия ширмы. Рядом пристраиваются у других отверстий еще два исполнителя. Зритель видит на фоне ширмы двух матрешек с короткими ручками и ножками. Они поют и пляшут под гомерический смех. Частушки - на местные темы.

Просто, как солома, но действенно. После концерта Гарин прошел за кулисы и пожал мне руку, обдав меня коньячным душком. Спросил, как привыкаю к работе. Я сообщил, что редакции требуется помещение. Он вынул записную книжечку, черкнул:

- В понедельник - будет.

Я тут же пояснил, что редакции необходимо иметь сотрудника и фотолaborаторию. Он пронзительно посмотрел мне в глаза, склонил голову, подумал и изрек:

- И это будет.

Я не решился дальше испытывать его щедрость. А клуб после этой встречи полюбил нежно.

Петрович послал меня в ателье, дабы портные меня обмерили и сшили за счет клуба костюм для выступлений - черную пару. Это меня окончательно подружило с Петровичем и его клубом.

Нередко Петрович устраивал для самодеятельных артистов посиделки. Портвейн, пиво, домашнее сало, помидорчики, огурчики, соленая рыбка. Сидели в будочке у клубного столяра Васи. В цехе он мог бы зарабатывать больше, но предпочитал чинить в клубе реквизит.

- Зато - искусство! - говорил Вася, - и всегда выпить можно!

От Васи мы шли в пустой зал. Петрович нажимал на пульте кнопку и раздавались два коротких звонка. Киномеханик Баранаускас включал мотор. Мы смотрели постельную сцену из нашумевшего фильма. Баранаускас показывал ее несколько раз, дабы можно было посмаковать подробности.

Петрович давал три коротких и Теляускас являлся к нам из будки, мы шли опять в столярку пить и закусывать.

Вот - моя редакция, вот - клуб. Если - что, Петрович просто махнет мне рукой, либо в окошко стукнет. И я иду на репетицию, на просмотр новых полотен самых лучших художников нашего края, либо на картину, где опять кого-то раздевают или - наоборот - одевают. Либо просто в клубный буфет привезли свежее пиво и Петрович хочет, чтобы я удостоверился, что оно действительно свежее. Он меня уважает, можно сказать, любит, мы же с ним коллеги, я ж тоже клубом в свое время заведовал.

Работа в редакции моей - не бей лежачего и не вали стоячего. Мастера из цехов сами заметки несут, рационализаторы о своих достижениях целые простыни пишут, знай на машинке перепечатавай да отвози в типографию в набор.

Я принял сотрудником не сумевшую поступить в институт десятиклассницу. Научил ее печатать на машинке. Ну, думаю, хоть отвечать на телефонные звонки будет, так- и так, редактор, мол, по цехам за материалом пошел, а уж где я в это время буду - мое дело. Но Сонечка быстро приспособилась удирать из редакции, как только я уходил.

Я принял другую девушку, точно так же куда-то там не поступившую. От Сонечки она отличалась только именем да цветом волос. Если Сонечка была брюнеткой, то Катя - блондинкой. Катя печатала на машинке примерно так: "Калисо катилось па дароги..."

Расстались мы с ней. И пришла ко мне работать взрослая женщина, Марина, толстушка, бывшая воспитательница детсада. Эта прогуливала по две недели. Раз спросил ее:

- На каком основании?

- Основание у меня за зеркалом лежит!..

Я сказал, чтобы она уволилась по-хорошему. Она пожала плечами и написала заявление.

Задумался я: где взять толкового сотрудника? И вспомнил про Луктиненка. Толчком к этому послужил визит в мою редакцию Ратунеккой.

208бревна то есть. Балан! Неплохо придумано. А я в плавках купаться иду и этим фурор произвожу. Не в телогрейке же ходить? В сибери и так лето - короче не придумаешь.

Только дядя Саша меня не осуждает. Зашел ко мне в выходной в телогрейке своей новой, пригорюнился:

- Земеля, ты вот пишешь, может, совет дашь? Сын у меня в Донбассе живет. Шахтер. Партийный человек. Пост имеет. Вот - фотка, старухе прислал. Без меня рос, в детдоме. Может он похлопотать, чтоб мне к нему со старухой - приехать, доживать?.. Так вот, бери бумагу, пиши, я тебе скажу чего писать...

Я написал письмо под диктовку, он хотел дать мне десятку, я отказался.

- Ладно, земля - сказал он, - я тебе потом с Донбасса яблоков пришлю! Ну, бывай!

А старожилы здешние вытаскивают из сараев и тащут в дома "козлы", такие, как для пиления дров, только размерами - гораздо больше. Спросил Феню Камахину, а она:

- Погоди, жареный петух в одно место клюнет - поймешь!

У Фени в потолок был вделан крюк, она к нему подвесила плетеный короб. Однажды ко мне забрел Василий Тимошин и все объяснил:

- Ловкачи, каждый втихаря от другого к наводнению готовится.

- Нечестно!

- Пустяки! Секрет их липовый.

- А что? Есть угроза?

- Кто его знает? Снега нынче были большие. А, главное, мост железнодорожный построен в таком месте, что большая вода теперь сюда, в низину, сбрасывается. Но затопляет не каждый год. Вы наиболее ценное, телевизор, приемник, пишмашинку, поднимите повыше, на шкаф, скажем, а шкаф к полу гвоздями пришейте и стол - тоже. Говорят, нынче ледники на Алтае хорошо оттаивают...

В поселке шпалозавода помнили, что в прошлом году наводнение началось шестнадцатого июня. Чем ближе мы придвигались к этой дате, тем больше носилось панических слухов. Говорили, что Гарин получил телеграмму о том, что нынче все вокруг затопит выше труб. Что на Оби прорвало плотину.

Я произвел разведку в конторе комбината. Ничего. Сказал Фене, а она:

- Они и знают, а не скажут. Почему? А чтоб люди на работу ходили, а то начнут свое барахло на чердаки грузить, а план выполнять некому будет...

В словах Фени был некоторый резон, но все-таки я ей до конца не верил.

Однажды, вернувшись с работы, я был неприятно поражен тем, что вода уже наполнила наш санитарный овражек доверху и зашла ко мне в огород.

- Что? Съел? - ехидно сказала Феня, - а ты в дом зайди, в подпол загляни!

И в подполье была вода, и плавали в ней клубни прошлогодней картошки, доставшейся мне с комнатой по наследству.

Ночью я спал плохо. Приснилась мне невесть откуда взявшаяся на улице Д.Г. Байрона огромная гора, на вершине ее стояла Феня Камахина и держала в руке большую граммофонную трубу, из которой с ревом вырывался стремительный поток. Дома затопило по крыши. А сам я, с телевизором подмышкой, стоял на коньке крыши, обхватив трубу.

- Говорила, потонешь! - кричала мне Феня.

- Фикушки! - отвечал я ей, - ты физики не знаешь!

Я вынул из кармана большой целлофановый мешок и надел его на дымившуюся трубу. Мешок наполнился дымом, потянул меня вверх. Вы летали во сне? Восхитительное ощущение! Вдруг на мой монгольфьер уселась стайка растрепанных воробьев, они принялись клевать меню

- Кши! Проклятые! - завопил я. И, вместе с выпустившим струйку дыма целлофаном и с телевизором подмышкой, брякнулся в волны. Море, в котором плавал ободранный макет земли.

- Что? Съел?! - хохотала Феня.

Проснулся я от стука в дверь. Сон был вещим, стучала именно Фем

- Очнись, проспишь все царствие небесное! Глянь, что на ДМ деется!

Я вышел на крыльцо. Улица Д.Г. Байрона была залита водой. Плавучесть деревянных предметов дала разительный эффект: всплыли тротуары, перекошились заборы, кое-где их разорвало. Мимо крыльца поленья, доски, проплыли мимо даже корыто и детская зыбка!

Тугеев был в самодельных сапогах-броднях, пристегнутых ремешками к поясу, крикнул:

- Помоги, соседка, коровку на стайку втащить! Я одел полуботинки. Тугеев усмехнулся:

- В этих тапочках далеко не уйдешь, садись-ка на меня, поедем, сперва мою коровку устроим, потом я тебя до линии донесу, если потребуется, на работу, либо в магазин...

Корову втаскивали на веревках, она отчаянно редела и брыкалась, уже, было, втащили на чердак, выскользнула из веревок и скатилась по куче навоза к воде.

Когда управились с буренкой, корововладелец отнес меня на горбу домой и помог поднять повыше вещи, что-то мы унесли на чердак, что-то пристроили на шкафу и на печи.

Тугеев отнес меня до насыпи, которая возвышалась над остальной местностью и не была затоплена. При этом Фенины пацаны и девчонки кричали нам вслед:

- Битый небитого везет!

Я шел по насыпи. Вода залила стадион и, как чай на гигантском блюде, нагрелась на солнышке. Трактор "Беларусь" попытался переехать одну лыву и перевернулся, у него слишком большие баллоны в колесах, в них - воздух, вот и подняло трактор, а потом перевернуло. Тракторист был жив, хотя вымок и ушибся, и матерился со вкусом.

Контора комбината стояла на месте возвышенном, ее не затопило. Я волновался за свою фотолабораторию, ведь только что аппаратуру купил, обидно будет, если испортится. Нет, тут даже до крылечка вода не дошла. Надо поспешать обратно.

На незатопленных местах по случаю субботы мирно топились баньки, на островках ребятишки играли в "чику" и футбол, один хитроумный дед ловил рыбу удочкой прямо из окна своего дома. Покусывали комары.

Феня Камахина сообщила:

- Штрафовщик на моторке приезжал. Кому страшно, говорит, штрафуйте барахло, потонет что, так вам заплатят. А какого мне хрена штрафовать?! Да мне хоть и самой утопиться - не жалко!

Слухи по поселку носились самые фантастические, будто где-то, выше по течению реки Кулым, города и села затопило, так, что и труб не видно. Тоже, мол, и нам будет. Но я уже справился у диспетчера в конторе. Он сказал, что вода идет на убыль.

Дядя Саня Рысь по случаю наводнения напился вместе со своей тощей супругой. Кент стоял возле своего дома с иронической улыбкой, он как бы озираал все происходящее с высоты своего знания жизни и горького опыта, его трудно было чем-то удивить.

Я подошел к Кенту для подзарядки бодростью. Он спросил у меня, что, мол, нового. Я сообщил, что мой земляк вдрызг напился.

- Ну, это не новость! - сказал Кент. - Да и как не пить? Мокрушник этот просил же тебя письмо накатать? Во-во! Звонил потом: сын - начальник, к себе заберет!.. А парень в детдоме вырос. На хрен теперь ему папа с наколками? Вот и отказался...

Кент засмеялся, закашлялся, руки у него тряслись, глаза слезились:

- И я детей не воспитывал, - сказал он, - с какими бы глазами я теперь к ним сунулся? И зачем? Пенсия, конечно, мизер, но я и лежа копейку с любого бока возьму. А он - что может? Ему до смерти - баланы катать!..

А я мучился с зубом, курил папиросы, пытался наскрести из мундштука сыгыз этот самый, но в мундштуке он - не получался. Надо - трубку и - табак трубочный.

Всю ночь не спал. Думал. Мы с дядей Саней сюда издалека пришли. Ему - шестьдесят, мне - за сорок, или под пятьдесят, как лучше сказать, если тебе уже сорок шестой год? Нас войной ушибло. А нынешние?

В самодеятельность комбинатовского клуба ходят девчухи-близнецы Даша и Саша. Белокурые, с ямочками на щеках и - абсолютно одинаковые. Две

капли. Сибирские полячки. Озорные, не дай бог! Всегда веселые. Они друг друга на свиданиях подменяют. Поди - различи!

Недавно на остановке встретил одну из них: не то Дашу, не то Сашу. И такая грустная! Это так на них непохоже, на полячек этих! Окликаю - не слышит, как окаменела. Пришлось мне даже ее за плечо потрясти, в транс была.

- Что с тобой? - говорю.

- Ой, не спрашивайте!

Долго я ее уговаривал. Пояснил, что все проходит, это ее состояние тоже пройдет. Пусть выскажется - легче станет. Я ведь лучше любой подруги, не разболтаю, осуждать не стану, а совет, возможно, дам.

- Да при чем тут совет! - говорит. И рассказала все же.

С пареньком дружила, вместе в десятом должны были учиться. В прошлое/воскресенье пригласил он ее погулять в тасиновский сад. Не пошла она. А пошла с парнем ее подруга. Вечером, после танцев. А утром подругу эту под танцплощадкой нашли. Тридцать ножевых ран. И долго живая была, ползала там.

А как было дело? Паренек-то с девушкой пошел по саду, привел ее к скамье, а там еще двое дружков. Ну стали ее раздевать, ножом грозили. Изнасиловали, а потом зарезать решили, чтобы не рассказала. Ударили ножом, под танцплощадку зачихали. Она стонет, просит врача позвать. Они еще ее резали. А она все умоляла пощадить...

Такое вот дело рассказала мне Даша, а, может - Саша? Я спросил еще:

- Ты Даша или Саша? Она отвечает:

- А какая разница?

Ну, я и не стал уточнять. Они так похожи, что, действительно, разницы нет. Дал ей совет съездить куда-нибудь, может, в Томск, может, и дальше куда. Переменить обстановку. Это лучше лекарств нервы лечит. Она сказала:

- Спасибо.

В разгар зимы я неожиданно для себя, уволился с комбината. Меня тянул магнит. То есть Томск. Тянул и тянул вот я прибыл в него зимой. Устроился в многотиражку, а под жилье мне дали избушку на задах редакции.

Избушка тепло почти не держала. С вечера протопишь - печка-буржуйка аж пунцовая. Утром я на своем топчане под одеялом и пальто дрожал, как в лихорадке, а спал я, не снимая верхней одежды.

И кто-то ночами возле избушки ходил. Было страшно. Нет, нелюдей боялся, а одиночества. И вспоминалось разное. Вот тут район назывался Прядилками. Жили тут канатчики. И картинка детства: на холме переkreщиваются веревки, а девочка с палкой в руке подпрыгивает и достает палкой веревки, словно играет. Сказал отцу, а он покачал головой:

- Не дай бог - такие игрушки. Это она пряди распутывает. Попрыгай-ка целый день.

А деревянные колеса крутились, а веревки переплетались, а девочка подпрыгивала.

Здесь, на Прядилках, может, как раз на том месте, где я теперь в избушке сплю, стояла келья среди ручьев и черемух. Полуземлянка. Жила схимница Татьяна. В 1900 году она ходила пешком через Кавказ и Персию в Иерусалим. Обрато тоже шла пешком. Вернулась в Томск, а у нее нет мизинцев на руках и ногах. Спрашивают - где мизинцы? Отвечает, что дала обет молчания.

Потом дознались все же, что в Иерусалиме старцы-схимники водили ее в особенную пещеру. Из той пещеры был проход в залу чудесную. И виден был Татьяне в той зале весь сотворенный мир. И деревья стояли настоящие, и плоды с них зрелые свисали, и Адам и Ева бродили меж тех деревьев, живые, настоящие. Но нельзя было пройти по тропам мира того и вкусить плодов его. Можно было лишь смотреть. И мизинцы у Татьяны отпали безо всякой болезни.

Доживала она век в своей келье на Прядилках. И, может, спала где-то тут недалеко. А теперь вот я тут лежу. И не видел я всего сотворенного мира, а лишь ничтожную часть его.

На этом холме испокон веков селились канатчики. И в домах, где алкоголики-квазимоды нынче жгут украденную у меня кедровую чурку, тоже когда-то жили канатчики. Сперва они были частниками-кустарями, после революции объединили их в артель "Канат". Надомники получали нитки на бобинах, крутили на станках снасти. Веревки и канаты требовались речникам, пожарным, трубочистам да и каждому хозяйству они были нужны.

А однажды комендант города латыш Матроз вызвал председателя артели и сказал:

- Революционное задание - сделать особо-прочную авиационную веревку! Подведете - пойдете под трибунал!

Пошли в контору "Заготлен", там отобрали волокно высшего класса. Каждую пачку льна самые сильные канатчики пробовали на разрыв. Пальцы порезал, но не разорвал - годится! Сплели такую веревку - выдерживала груз в три тонны. Но все равно Матроза потом сняли с работы, не за веревку, за что-то другое.

А на том месте, где теперь - дом собеса, стоял раньше дом старика Тихонова. Здоровенный был старик. Возглавлял он, бывало, дружину, которая с дубьем и топорами шла за веру, царя и отечество. Богат был старик Тихонов, уважаем. Но сменилась власть. А когда аресты начались, понял Тихонов, что его-то уж непременно заберут, сам пошел в НКВД. А ходил он уже плохо, хромал, и всегда опирался на трость.

Арестовали старика. Пришли к нему домой и давай - золото искать. И крышу сняли, и пол, и стены все разломали - не нашли. А старик ходил по тюремным коридорам. И лишь случайно кто-то взял его трость - тяжелая! Пустотелая трость была, а в ней - золотой песок. И повесился старик Тихонов в камере на очень прочной и тонкой веревке, сплетенной на этом холме. Не оборвалась, выдержала, мастера веревку делали!

А теперь веревка не та. Ни крючка у меня нет, ни щеколды. Я примотал веревку к дверной ручке и к гвоздю, вбитому в косяк. Запор, изнутри, на ночь. А дернут ту дверь - веревка порвется.

В трудные минуты человек готов обратиться за помощью хоть к черту.

Двенадцатилетним пацаном я съездил из Томска к бабушке в Щучинск, возвращался обратно с кулечком муки килограммов на десять. Измаялся по телячьим вагонам и вокзальным лавкам отираться. Последняя пересадка в Тайге.

В тайгинском вокзале сидела девчонка лет четырнадцати, отрезала от буханки большие куски, резала сало, ела. Заметила мой взгляд, спросила - куда еду, обрадовалась, что еду в Томск. По пути!.. Нет, она не томская, сроду в Томске не была, вообще впервые из своей деревни выехала, едет в техникум поступать.

Она отрезала мне сала, хлеба, я торопливо глотал, а она говорила:

- Ешь, ешь... Еще отрежу. А ты сможешь в Томске мне улицу Розы Люксембург найти и дом этот самый? Город же большой, говорят, а я сроду не была. Я ей донес чемодан до училища. Она обрадовалась:

-Спасибо! А сала больше не отрежу, я и так тебе много дала...

А город мой вон какой славный ей его вовек не понять.

Вон в том доме на горе жил кавалер Девильнев, француз, комендант города, родом из Прованса. Неподалеку от дома коменданта - гауптвахта, где томились провинившиеся офицеры. Летним вечером подходил комендант к зарешеченным окнам и угощал арестованных молодцов домашними шаньгами.

А с каким восторгом он встречал в своем доме ссыльного Радищева, который в дни пребывания в Томске запустил в небо с Соляной площади склеенный им из плотной бумаги воздушный шар!

Добрый француз умер от излишней любви к спелой черемухе. Вы же знаете этот сладкий и терпкий сок переспелой до фиолетовости мякоти? Кожица лоснится черной зеркальностью и в каждой ягодке отражается весь мир. Скушав полный поднос черемухи с косточками, комендант получил заворот кишок. Но можно сказать, что помер он от стремления чувствовать полноту жизни.

На горе, в прошлом стояла крепость, построенная по указу Бориса Годунова в 1604-ом году.

Теперь от деревянной крепости не осталось и следа, но по краю горы, там, где проходила стена крепости, идет улица Бакунина, одна из старейших в городе. В конце ее стоит польский костел. В город ссылали жолнежей свободы, они приходили сюда молиться.

В годы Великой Отечественной войны мы с Витькой заходили в костел, брошенный без присмотра. Деревянную оснастку утащили на дрова, кирпичи кое-где повыколупывали, внутри храма нагадили, статую Матки Бозки изуродовали топорами.

Рассказывали старики, что в годы яркой борьбы с религией органы завели обычай переодевать своих сотрудников в форму летчиков и в таком виде посылать в храмы для антирелигиозной агитации. Летчиков народ любил, он им

верил. И вот один такой пришел в костел. Он де сам бывал в небе, никакого бога там не встретил, надо кончать с мракобесием и жить новой жизнью.

На кафедре его никто не приглашал, сам за нее встал. Махал руками, бил по кафедре кулаком. И вдруг - кафедра треснула пополам, а "летчик" сверзился на пол. Об этом случае тогда говорил весь город.

Теперь возле костела, в ограде и на дороге, валялись в снегу трубы от органа. Местные жители их подбирали - в хозяйстве сгодится.

Мой двоюродный брат Коляша, живший в войну в доме Бульвахтера в полуподвале, погибал от холода и сырости. Но умелец один вмазал в печь две органных трубы и комнату затопила музыка тепла! А печник за магарычом рассказывал: скупому хозяину печники подвешивали в трубу совиное перо. Разгораются дрова и в дымоходе завывает нечистая сила. Иные слабонервные даже сходили с ума.

А еще старик вспоминал прорубь, вырубленную в разгар зимы на Томи. В сугробы воткнуты елочки, священники в ярких ризах, духовой оркестр. Иордань - брать воду, а рядом прорубь для купания. Толпы извозчиков, доставивших сюда пассажиров с Обрубной, Управленческой, Шушляевской и Клубяной бирж.

Мне Верилось: из того вон домика сейчас выйдет Бакунин, с юной женой - томичкой, которая еще недавно была его ученицей.

Центр ссылал сюда неугодных ему персон. Не нужны были ему уголовники, но так же неугодны были ему люди оригинальные, обогнавшие время и не желавшие считаться с установившимся рутинным порядком. Это были таланты, борцы, подвижники. Разночинцы, дворяне и даже члены царствующей фамилии.

Попадая в этот край, изгнанники начинали переделывать его под себя. Не случайно здесь открылся первый за Уралом университет и, как грибы, стали плодиться училища, а затем - институты. Сколько тут столпов науки трудилось, сколько открытий свершилось!

Великие криминального мира тоже закладывали традиции и нравы этого города. Разные силы здесь сталкивались и трудились.

Мой город - был реальным богатством, он был отражением жизни предков, он был их душой. И когда я узнал о клубе краеведов, захотелось сходить туда, там не о Монмартрах и Бродвеях печалются.

Дом Макушина. За Белым озером. Самый старый квартал. Возле дома металлическая решетка, палисадник за ней, в палисаднике и похоронен купец, который организовывал по всей губернии библиотеки, торговал умными, дешевыми книгами. И выстроил Дом науки для народа родного. Над его могилой начертан лозунг-завещание: "Ни одного неграмотного!" И, как им завещано, возле могилы вертикально вкопана рельса, на которой вверху горит лампочка. По завещанию она должна гореть вечно. Увы, лампочка иногда перегорает, но потом все-таки зажигается вновь.

Краеведы собрались в комнате на втором этаже, куда вела широкая, парадная лестница. Были здесь люди разных возрастов, профессии у них тоже были разные. Были тут историки, художники, рабочие, служащие.

Был тут старик с разделенной надвое бородой, точно похожий на купца Макушина. Он собирал всю свою жизнь материалы об этом сибирском просветителе, как бы заново проживая его жизнь. И так вжился в его роль, что даже внешне стал походить на Петра Ивановича. В голосе старика, в его походке чувствовалось благородство. И не зря похожий на Макушина старик был активистом клуба, дружил с книголюбями и букинистами.

Так близки мне были эти люди, которые были рады услышать от меня о довоенном Томске. Многие из них сами жили тогда здесь, но им дорога была каждая черточка нашего города, которую, может, они упустили, а благодаря мне теперь приобщат к накопленным богатствам. Эти люди были рады любому новому штриху, каждому нюансу.

На том памятном заседании читали старую дореволюционную газету, сообщавшую о том, что контора омнибусов Слосмана извещает господ-пассажиров о том, что омнибусы смогут провезти по двум маршрутам: вокзал-базар-вокзал и университет-базар-университет. И можно было представить себе вагончики омнибусов на томских улицах, запряженные шестерками лошадей.

Юный историк сделал доклад об открытках с видами нашего города, выпущенных бароном Германом Ивановичем фон Ливеном.

Эти открытки мне были знакомы с детства. Однажды я сидел в парикмахерской, в которой возле двери каждого нового клиента приветствовал колокольчик, и, пока брили отца, рассматривал стереопары открыток в специальные окуляры. Картины нашего старинного города сквозь эти очки смотрелись объемно. Казалось, я сам брожу в прошлом, поэтому, ныне уже исчезнувшему, городу. Отец давно уж побрился, наговорился со знакомыми парикмахерами и клиентами, а я все не мог оторваться от окуляров. Вот и теперь, на этом собрании возник эффект присутствия. Я как бы перенесся в прошлое. Я видел этого потомка барона фон Ливена, получившего баронство аж в 1185 году. Он учился химии у Бородин (композитора), потом его каким-то ветром занесло в наш город. Он имел здесь типографию и магазин для учащихся. Там продавались карты, пеналы, перья, учебники. Но самую яркую память о себе барон оставил именно своими открытками. До сих пор томские фотографии перенимают открытки Ливена, сюжеты их мелькают в книгах, на пригласительных билетах, на значках.

Я знал об этом доме не только то, что написано в книгах, а еще то, что видел мой отец, и что я сам тут видел в разные годы. В январе 1919 года здесь поселилась Петроградская Николаевская академия Генштаба. Гуляли здесь вот возле Белого озера в рощице генерал-лейтенант Кулебакин, генерал-майор Филатьев, генерал-майор Андокский. Лампасы на их брюках красиво цвели на фоне белых томских снегов. Вбегали на крыльцо Дома науки сербы, поляки, чехи. Предполагалось сюда перебазировать все имущество академии, в здании

строительного института была церковь академии, работала даже своя типография.

Тогда же в Томске оказалось сразу три университета: свой собственный и переехавшие сюда - Пермский и Казанский. Прибыли к нам и некоторые факультеты Варшавского политехнического института.

Вот так городок! Трехуниверситетский! Академический!

Но военная академия пробыла у нас недолго, эвакуировалась во Владивосток, а позднее се перебазировали в Москву и создали на ее фундаменте высшее командное училище имени Фрунзе.

Зигзаги истории!

И я опять бродил по городу и вспоминал и свое, и отцовское.

Главный вход в горсад был оформлен мощными колоннами и помпезной аркой. Неподалеку от входа гипсовый мальчик держал в руках гипсовую же рыбу, изо рта ее должна была бить вода. Но чаша фонтана была суха, в ней валялись окурки. Прежде здесь был фонтан "Дружба народов", подражание столичному. Но окрашенные бронзой фигурки были маленькими, аляповатыми, не отражали величия идеи. Это осознали власти и породили тощего сироту с рыбой неизвестной породы.

Именно здесь до революции был помост, на который всходили под музыку чемпионы-борцы Заозерья, Казанки, Королевки, Кирпичей, Ям, Уржатки и других районов города. Славился силой чемпион Заисточья - Хаджи Мурат. Заисточные татары кормили его пирожным и шоколадом, может, потому был он таким высоким и толстым и не знал поражений. Потом он боролся в профессиональном цирке.

А вот - типография и объединенная бухгалтерия. В гонорарный день там толкуются журналисты. Девушка розовым пальцем колет по ведомости, розовый ноготок остановится:

- Есть! Распишитесь!

Сколько радостных эмоций! Да... а в подвале здания при ремонте нашли толстенные цепи, вделанные в стены. Узники подвала, видимо, испытывали совсем иные эмоции.

При Советах узников освободили, здание какое-то время стояло в запустении. Ученый Владимир Дмитриевич Кузнецов искал возможности расширения своей физической кафедры в институт. Просил разрешить ему приспособить дом для нужд науки. Ремонт был в разгаре, когда Кузнецову шепнули: отремонтированное здание тюремное ведомство решило оставить за собой. Ученый, есть ученый, он тут же раздал всем сотрудникам кафедры и студентам ножовочные полотна и за пару часом они распилили и сняли с окон все вековые толстенные решетки. Дом сразу стал совсем штатским! Вызывали после Кузнецова, но обошлось.

А вон там, где роща, в том здании Нарком Луначарский в 1923 году наблюдал оживленную профессором Кулябко сперва щучью, а потом и собачью голову. Заметка об этой фантастической работе томского медицинского

факультета дала писателю Александру Беляеву сюжет для повести: "Голова профессора Доуэля".

Я часто ходил и по Черепичной улице, где жил в прошлом томский Фауст - Карл Хиллинг. Он ставил диагноз болезни при помощи отклоняющихся маятников, он лечил пациентов при помощи зеркал и цветных стекол, в его прихожеаразбрасывал блики по стенам стеклянный многогранник. Профессор Хиллинг мог заглядывать в будущее людей. Но собственного будущего, видимо, не разглядел: в 1937-ом году его забрали, как колдуна и вредителя, и умер он в тюрьме.

Закоулками я выходил к инфекционной больнице на Петровской улице. И мне доводилось здесь лежать в детстве. Доктора через волшебный фонарь по вечерам показывали нам Африку и Америку. Доктора рассказывали нам сказки. Это была особенная больница, это были особенные доктора, воспитанные знаменитым врачом - Геннадием Сибирцевым. Сама его фамилия была такая здешняя! Он учил милосердию. Медперсонал и пациенты больницы высадили вокруг беседки, в которой он любил отдыхать, цветник из роз в виде сердца. Сибирцева давно уж нет на свете, а розы все цветут! Вот оно - розовое сердце! И это тоже черточка-своеобычinka нашего города.

Я спустился с Воскресенской горы и вышел в Заозерье. Там пахло ветром с большой реки, свежестью. Мы шли по тому месту, где раньше было Сухое озеро, шлюз. В тридцатые годы верующие сняли со Знаменской церкви колокола, собрали церковную утварь и все это уложили в дубовый ящик, вывезли на плоту на середину Сухого озера и затопили.

Теперь озеро пересохло, его забутили щебнем и поставили тут павильоны нового рынка, ибо старый базар был взорван. Его взрывали, пугая жителей и собак. Взрывали, ибо сломать прочнейший, единственный за Уралом, гостинный двор, не было возможности.

Когда я вернулся из Тасина, то увидел, что на месте знакомого с детства гостиного двора что-то строят. Однажды столичный мэтр вместе с томским вождем стояли на Воскресенской горе и мэтр ткнул сюда пухлым пальцем:

- Все снесем, сформируем центр современного города!

Сформировали. Театр-элеватор, обком-радиоприемник. Зато под театром есть бомбоубежище для обкомовцев.

А новый базар поднял свои безобразные ангары-павильоны над тем местом, где когда-то были затоплены колокола, и говорят, они ночами чуть слышно звучат из-под земли: Звучат и все. Протестуют против глупости, черствости, бездушия. Я слышу этот звон, слышу...